А. БОНДИН

# МОЯ ШКОЛА

ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ 1933

SHOUT
SHARE
IT

- Алексей Петрович Бондин
  - Моя школа
  - 
  - 
  - В СЕМЬЕ
  - ГАРМОННЫЙ МАСТЕР
  - СИРОТА
  - НОВАЯ МАТЬ
  - ДАРМОЕД
  - В ПРИЮТЕ
  - ФЕРАПОНТ
  - ЧЕЧЕТ
  - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
  - РАМОЧКИ
  - УТОПЛЕННИК
  - БАРИН
  - БОЛЬШАК
  - ОКРОВАВЛЕННОЕ УХО
  - ВМЕСТО МАТЕРИ
  - ЦВЕТКОВ
  - БУНТ
  - НЕДОИМКИ
  - ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ
  - БЕГ НА МЕСТЕ
  - ПОРКА
  - НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ
  - КЛИКУША
  - «ЦЕРКОВНАЯ ЗАДВИЖКА»
  - КОЗЕЛ ВАСЬКА
  - УНТЕР-ШЛЁП
  - ДВА УРОКА
  - МАРУСЯ
  - ГОНКИ
  - ГИМНАСТИКА
  - НА ЭКЗАМЕНЕ
  - НА ЗАВОДЕ
  - СТАРАЯ КРЫСА
  - В НОЧНУЮ СМЕНУ
  - СНОВА ШКОЛА
  - АЛЬБОМ
  - СВОЙ ПОЧТАЛЬОН
  - ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
- notes

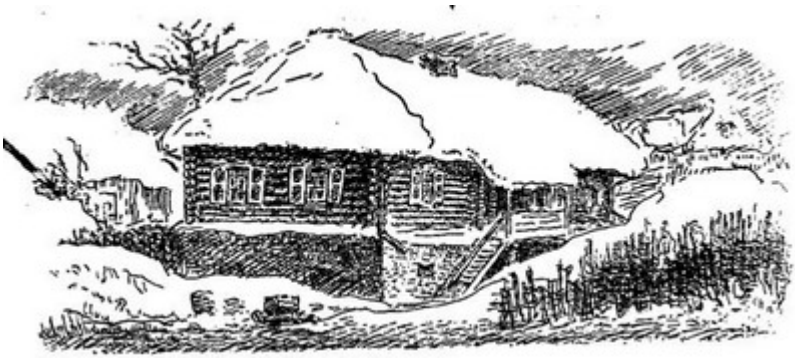
- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3

# Алексей Петрович Бондин

# Моя школа

ДЕТИЗДАТ ЦК ВКЛСМ 1938

Scan@Read@Spellcheck AndreyMx@mail.ru 2009
По возможности сохранена орфография оригинала.



*Пионерам — верной смене комсомола*

# В СЕМЬЕ

За черными окнами зимняя ночь. В соседней комнате часы пробили четыре. Скоро утро. "На стене мерцает крохотный огонек керосиновой лампы.

Мне не спится. Я лежу на полатях, упираясь ногами в потолок. Ноги тонут в потемках, и мне кажется, что потолка нет, а ноги длинные-длинные и тянутся куда-то далеко.

Рядом крепко спит братишка Ленька. Я заглядываю с полатей вниз. На полу черной бесформенной кучей лежат мои старшие братья и отец.

Я толкаю Леньку под бок. Сладко чмокая губами, он повертывается ко мне спиной. Я стукаю его в спину. Он — как мертвый. Тогда я начинаю тихонько нашептывать:

— Пш-ши-чи-пи-пш-чича-чачича-чичи-пши-шичи…

— Эй, шиликун, замолчи-ка! — слышится снизу сонный окрик отца. — Тебе говорят…

Я замолкаю. Но через минуту, подковырнув Леньку кулаком в бок, отчего он вздрагивает и мычит, я начинаю свою «музыку» уже громко. Снова окрик отца, но более внушительный и строгий:

— Елыман! Я встану!..

«Музыка» обрывается, а отец сонно ворчит:

— Кого не нужно, того подымет ни свет ни заря. Черти в кулачки не ударятся…

Почему он звал меня «Елыман» — я не знаю, но меня не обижало это прозвище: он никого не звал по имени. Старшего, Александра, называл «Большак», Павла — «Малышка», Леньку и меня звал «Елыман».

Мать же меня звала «сирота». Прижимая меня к себе и разглаживая мои коротко остриженные волосы, она тоскующим голосом говорила иногда:

— Не обижайте вы его у меня. Он ведь сирота.

Я знал, что сирота — это не имеющий ни отца, ни матери. И мне казалось странным, почему я сирота? Но когда Ленька — увесистый, сильный мальчик — лез ко мне драться, я говорил:

— Ты, Ленька, меня не тронь — я сирота.

Ленька к этому относился с презрением. Прижав меня где-нибудь в углу, он заявлял:

— Я тебе задам, сирота!

Драки у нас с ним происходили нередко. Дрались из-за бабок, из-за игрушек. Он был старше меня, много сильней, и часто мне от него влетало.

Жаловаться я не любил. Улучив минуту, я ему тоже делал

какую-нибудь каверзу. Между нами начиналась молчаливая война. Примирителем был отцовский круглый красный пояс с большими кистями. Мать снимала его с гвоздя и секла нас по очереди.

Я думал, что всё зло в этом поясе. Крадучись, снимал его с гвоздя и прятал, чтобы мать не нашла. Мать бегала, искала пояс.

— Ужо, — говорила она, — я все-таки найду этот пояс и спущу вам шкуру-то.

Часто этот пояс служил нам вместо вожжей, когда мы играли в коняжки.

По утрам, когда еще «не бились черти в кулачки», я был исправным будильником. Прислушиваясь к воющему гудку завода, я сползал с полатей и тормошил отца:

— Тятенька, вставай! Три четверти свистит.

— Сейчас, Елыман, встану, родной. Ну-ка, иди сюда!

Отец ласково притягивал меня к себе и снова засыпал. Его жесткая, тяжелая рука обнимала меня, а борода щекотала мне лицо. Я тихонько вылезал из-под одеяла и уходил на полати.

Снова свисток. Я опять тихо:

— Тятенька, вставай! Три четверти свистит.

Все заводские гудки я называл «три четверти». Отец торопливо вскакивал и будил Большака и Малышку.

Большак сейчас же вставал, с Малышкой было труднее. Отец, уже умываясь; кричал:

— Малышка, вставай!

— Сейчас, — сонно ворчал Малышка.

Отец перед иконой, набожно крестясь, шептал молитвы:

— Царю небесный, утешителю душе истины… Малышка, вставай…

— Сейчас.

— И жизни подателю… Малышка, ты что?… Тебе говорят — вставай!

— Да сейчас я… Вот привязался! — сонно кутался в тулуп Малышка.

— Прииди и вселися в ны… Малышка! Опять! Да ты что, каналья?!

Молитва обрывалась. Отец сдергивал с Малышки тулуп и поднимал его пинком. Тот соскакивал, недовольно фыркал. Потом подходил к рукомойнику и, умываясь, долго сморкался.

Отец ворчал:

— Запрочихивался, запронюхивался!

Мне было смешно. Свесив голову с полатей, я глядел на Павла. Это ему не нравилось. Он хватал подушку и швырял в меня. Однажды, свесив голову с полатей и глядя на Павла, я

сказал:

— Запрочихивался, запронюхивался.

Он сорвался с места, схватил валенок и бросил в меня. Лицо у него было в мыле, искаженное от злости, мокрое. Я забился в угол.

— Я тебе вот сейчас!

Пригрозив мне жилистым кулаком, Малышка наспех умылся и убежал.

Гудел последний гудок — шесть часов.

Умывшись и помолившись, отец наливал в глиняную чашку квасу, крошил ржаных сухарей, усевшись за стол, мешал деревянной ложкой и звал меня:

— Елыман, иди московские рыжики хлебать.

Я знал, что такое «московские рыжики». От одного названия казалось, что это очень вкусно. Я торопливо сползал с полатей и шел к столу, захватив из кухни ложку.

— Умойся сначала! — тихо приказывал отец.

Я кое-как плескал на лицо воды из рукомойника, размазывал полотенцем и садился. Молиться отец не заставлял.

Ели молча. Ядреный квас бодрил, отгонял утреннюю дремоту. Отец ел аппетитно, я тоже не отставал.

Наевшись «рыжиков», я шел в соседнюю комнату, где спали мать и сестра, и забирался к матери под одеяло. Она сонно и ласково прижимала меня к себе, но мне не спалось. Я вылезал тихонько и шел к сестре Фелицате.

Мне хотелось её разбудить. Я начинал теребить её за нос, за ухо. Или, захватив у неё на голове длинный волос, тянул потихоньку. Сестра просыпалась и сердито ворчала:

— Надоедный!

Я уходил к матери. Она снова, обняв меня, окутывала стеганым одеялом и сонно шептала:

— Убродилось ли мое дитятко?… Спи-ка, давай!

И я сладко засыпал, прижавшись к груди матери. А когда просыпался, то её возле меня уже не было. Мать стряпала, постукивая в кухне ухватами и горшками. Иногда позвякивала на шестке сковородкой. Я знал, что скоро она войдет, приоткроет одеяло и ласково скажет:

— Олешунька, лепешек хочешь? Вставай скорей!

Я, радостный, бежал в кухню и садился за стол, зная, что нас с Ленькой ожидают масленая поджаренная лепешка и чашка молока.

Но молоко мы видели только в мясоед. Как только наступал пост, мать молока не давала.

— В пост молоко есть грешно, — говорила она, — бог за это

камешком побьет.

А отец говорил, что молоко улетело и прилетит только на рождество. Я представлял себе, как у крынки с молоком выросли крылья и она улетает от нас к краю земли.

Мы с нетерпением ждали рождества и часто спрашивали отца:

— А молоко, тятенька, где сейчас?

— Молоко? — серьезно переспрашивал отец и, подумав, отвечал: — На покосе, — и успокаивающе пояснял: — Скоро рождество, значит молоко теперь уже подвигается близко. В пост, перед рождеством» мы с Ленькой не дрались, а усиленно учились славить. Спевки наши были на полатях.

Мать, убираясь в кухне или сидя у стола с шитьем, иногда нас поправляла:

— Не в ней бо, а в нем бо.

Или:

— Не учашуся, а учахуся.

Я не знал, что это такое: «в нем бо» и «учахуся». И смысл этих слов меня не интересовал. Учась славить, я представлял себе копейки, семишники и трешники, которые дадут нам за это. На полатях мы с Ленькой по пальцам подсчитывали свои будущие доходы:

— К Ягодиным пойдем?

— Пойдем… Они по пятаку дают.

— К Петровым… Там в прошлом году по гривеннику дали.

И, подсчитав доходы, мы начинали обдумывать, что мы себе купим. Я все время мечтал о гармошке, а Ленька — о конфетах с кистями.

В канун рождества, утром, я будил отца на работу и следил с полатей, будет отец завтракать или нет. Отец завертывал в узелок хлеб.

— Сегодня, тятенька, до звезды не едят? — спрашивал я.

— Не едят, Елыман.

— А молоко где сейчас?

— Молоко? Оно уже близко… У Худояровых в огороде.

Вечером я выбегал на улицу и долго смотрел в зимнее небо, есть ли звезды. На западе, в атласном крае неба, всегда мигает большая лучистая звезда. По дороге идут обозы, полозья саней скрипят, поют, а вдали, в предвечерней мгле, слышен железный шелест завода. Эти звуки всегда четкие, ясные, точно небо — темный стеклянный колпак и под ним просторно и звонко, как в пустой комнате. Я радостно бегу в избу и кричу матери:

— Мама, звезда есть!

— Ну, есть… Ну, и что же?…

— Можно поесть, значит.

Улыбаясь, мать нарезает хлеб, а я лезу на полати и настойчиво бужу Леньку:

— Вставай, Ленька, а то звезду проспишь!

А утром чувствую ласковую руку отца и его добрый голос: — Елыман, вставай, родной, молочко прилетело.

Сон сразу исчезает, радостно обвиваю шею отца. Борода его щекочет мое лицо, и он, смеясь, рассказывает:

— Молоко-то чуть-чуть окошко не разбило! Стучится… Я побежал отворять дверь, и как только открыл, оно — шасть на стол!

Я выглядываю с полатей и вижу на столе крынку с молоком, но без крыльев.

В комнате тепло. Топится печь. Мать и сестра, раскрасневшиеся, стряпают пироги. Часы показывают пять часов утра.

Мы торопливо едим молоко с белым мягким хлебом, а потом собираемся славить.

Зимняя ночь еще крепко лежит на земле. На улице мороз. Дома зябко жмутся друг к другу, смотрят тускло освещенными окнами. С церкви ползут тяжелые удары колокола. Они мне кажутся старыми и мрачными. Рядом со мной бежит Ленька.

Мы стучимся в дверь к Ягодину — нашему соседу.

Нас впускает старушка.

Мы боязливо останавливаемся у дверей и, смотря в угол на рубиновый огонек лампады, обливающий неясные лики «святых», несмело и врозь тянем молитву.

Потом я говорил заученно:

— С праздником, хозяин с хозяюшкой! Открывайте сундучки, доставайте пятачки либо гривеннички!

Старушка, подавая нам по медному пятаку, одобряюще качала головой:

— Ишь ты, как еще умеешь!

Но вместе с Ленькой мы славили недолго. Как только где-нибудь давали серебряный гривенник, у нас возникал спор, кому быть владельцем серебряной монеты. Иметь в кармане «монетик» — значило быть обладателем целого состояния.

Начинались святки. К братьям приходили товарищи с гармоникой, к сестре — подруги. Иногда танцовали. Сестра с подружками выбегала на улицу. Они насыпали в горшок снегу и помешивали его там, прислушиваясь к шуршанию снега в горшке.

— Ой! Точно Александр! Слышите, девчата?

— Нет… Иван…

Так девушки узнавали имя будущего жениха. Иногда поздно

вечером к нам неожиданно стучались в окно. Я подбегал и спрашивал:

— Кто там?

— Как невесту зовут? — спрашивал незнакомый голос за окном.

Отец, улыбаясь, отвечал;

— Фекла!

Я кричал в окно:

— Фекла! — и мы хохотали.

*В избу ввалилась толпа ряженых.*

Как-то раз к нам в избу ввалилась толпа ряженых.

Я прижался в угол и со страхом глядел на уродливые морды масок. Щеголевато вошел солдат с эполетами, с блестящей саблей. Брови у него намазаны сажей, а под носом торчат большие черные усы. Он их все время поддерживает.

К отцу подходит монашка в черном платье, с марлей на лице, с подвешенной на груди кружкой. Она низко кланяется и просит:

— На каменное строенье, на кабацкое разоренье подайте копеечку!

Отец шутливо отмахивается:

— Много вас, милые, шляется по белому-то свету. Давай, проваливай!

Возле матери стоит цыганка в пестрых юбках и тянет басовитым певучим голосом:

— А, милая моя… Дай-ка мне твою ручку, я погадаю.

Мать, улыбаясь, подает руку. Цыганка смотрит на жесткую сморщенную ладонь матери и громко говорит:

— Ай, ай, родимая ты моя! Будет у тебя горюшко большое, но за этим горюшком богачество тебя ожидает…

Я не слышу дальше слов цыганки: мое внимание притягивается к медведю. Он стоит в большой шубе, вывороченной мехом кверху и опоясанной веревкой. На спине мех вытерт и зашит синей заплатой. На голове лохматая шапка с ушами. Черная маска смотрит на меня простоватой звериной мордой. В прорехах маски я вижу чьи-то красные губы. Медведь курит. Дым идет отовсюду: из глаз, изо рта, из ноздрей.

Медведь кувыркается, неуклюже ходит на четвереньках, встает на задние лапы и танцует с монашкой. На ногах у него серые курносые, растоптанные валенки.

Я боязливо подбираю ноги под себя. Мужик в нагольном полушубке водит медведя на веревке и приказывает:

— А ну, Миша, покажи, как пьяные валяются…

Я смотрю через окно в темносинюю ночь, и мне чудится, что там мелькают неясные тени. Они, точно из глубины звездного неба, падают и скользят по земле, прозрачные, неуловимые. Я с замиранием сердца смотрю на странную женщину в черной кисее, усеянной золотыми звездами.

Малышка и Большак завистливо глядят на ряженых. Они просят отца отпустить их на вечеринку.

К отцу подходит медведь и глухо рычит:

— Петр Федорыч, отпусти!

— А спойте мне мою любимую: «Налей, налей…»

Павел, Александр и медведь стройно поют:

Быстры, как волны, дни нашей жизни,
Что час, то короче к могиле наш путь…

Четко звенит тенор Малышки, и ему мягко вторит приятный бас Большака. А медведь размахивает толстыми руками и неуклюже топчется возле них.

Отец слушает, облокотившись на стол. Из глаз его текут слезы.

* * *

В длинные зимние вечера отец заставлял старших братьев читать книжки вслух. И когда им попадалась интересная книга, они засиживались до полуночи.

Я шел к матери, залезал к ней на кровать и просил рассказать сказку. — Чего тебе рассказать, уж и не знаю, — позевывая, отвечает она.

— Про медведя.

— Про медведя?…

— Ну, они злые?

— Всякие бывают. Они пугливые. Вот ты знаешь тетку Федосью?

— Знаю.

— Вот она ходила раз к просеку по малину. Взяла туесок и пошла по воду на ключик. Смотрит, а медведь у ключика спит. Она и не знает, как быть. Бежать — он проснется, пожалуй, за ней побежит, а воды-то брать больше негде. Она взяла кузов, сняла с плеч, да ка-ак кузовом-то его стукнет! Он рявкнул, вскочил — и ну бежать! Десять сажен отбежал и издох.

— А почему?

— Пугливый он,… Как его сонного испугают, — ну, он и умрет.

Про медведей мать знала очень много чудесных рассказов. А иногда, похлопывая меня рукой по спине, она тихонько пела:

Ты, мороз, мороз,
Не показывай нам нос,
Уходи скорей домой,
Уводя стужу с собой.
А мы саночки возьмем
И на улочку пойдем.
Мы на улочку пойдем
И кататься начнем.
Сядем в саночки,
В самокаточки.
А у санок подушечка Бархатная,
Золотом обшита,
Кисти шелковые,
Полозочки у них
Да серебряные,
А шишечки-кукишечки
Золоченые.
А оглобельки у санок
Кипарисовые…

А мороз не уходит,
Еще вьюгу зовет.
А вьюга идет,
Жалобнёшенько поет.
Она ходит под окном
И стучит ставешком.
А снежинки-пушинки
В окошечко глядят.
Они в окошечко глядят
И кататься не велят.
Ты в кроватке усни,
Лучше в теплой полежи:
Больно холодно,
Больно ветрено.
А на улочке
Из проулочка
Бежит серенький коток,
Познобил свой коготок.
А шубка на нем позаиндевела,
А брови, усы
Позакуржевели.
Котя в сеночках ревет,
В избу просится.
А бабушка пустила,
Кота выстегала
От метелки голиком:
«Не ходи, кот, босиком,
Ходи в валенках,
В теплых варежках.
А пойдешь как во двор,
То иди в один притвор».
А котик осердился,
На печку ушел.
Он на печку ушел.
Кирпич тепленький нашел.
Лежит котик на печи,
На горячем кирпиче.
А головку-то котенька
Лапкой обнял.
А хвостиком котик
Приокутался…

Я никогда не мог дождаться окончания песни. Каждый раз

новые они лились из уст матери тихой струей, как неиссякаемый источник Я слушал, закрыв глаза, и меня обнимала певучая дрема; она поднимала меня и, как на легких крыльях, уносила, сладко покачивая, куда-то далеко, в неведомый, чудесный мир… Я незаметно засыпал. А когда просыпался, вокруг всё уже затихало. Чуть мерцала на стене маленькая керосиновая лампочка. Рядом со мной спала мать. Я чувствовал её мягкую руку, слышал её ровное дыхание.

# ГАРМОННЫЙ МАСТЕР

Из товарищей моих братьев мне больше всех нравился гармонный мастер Андрей Александрович. Мы его звали «гармонщик». Он часто к нам ходил и подолгу засиживался.

Среднего роста, светлорусый, одет он был всегда чисто — в серые брюки, в такой же пиджак. Мне нравилось его задумчивое лицо, мягкая улыбка, а в ясных, добрых глазах светилось что-то неудержимо притягивающее. Мне всегда хотелось подойти к нему и прижаться так же, как к матери или отцу.

Однажды он принес мне маленькую гармошку-пятиладку. Затаив дыхание, я взял гармошку, глядя ему в лицо, а он, улыбнувшись ласково, сказал:

— Ну-ка, я послушаю, как ты играешь…

Играть я не стал, а бережно унес подарок к себе на полати. Смотря однажды на отца, я деловито предложил:

— Павла бы отослать к гармонщику, а гармонщика взять к себе.

— Значит, в дети? — спросил отец. — Экий ты! Настоящий Елыман! Значит, сменять на Малышку? А?

— Ага.

— А тебе не жаль будет Малышку?

— Нет, — решительно заявил я.

Гармонщик нежно притянул меня к себе.

Иногда он целые вечера проводил со мной, рисуя карандашом картинки. Глубокая тишина наступала в это время… Я слежу за каждым движением его руки. На бумаге появляются фигуры лошадей, собак. Вот дом. Из трубы идет дым. Из ворот на дровнях выезжает мужик…

Наше занятие неожиданно обрывает отец:

— Елыман, отгадай загадку: из печурки две чурки выглядывают.

Я поспешно бегу к умывальнику и сморкаюсь. Но, поглощенный работой друга, я скоро забываюсь — снова начинаю шмыгать носом.

Тогда отец снова напоминает:

— Под гору тихонько, в гору бегом. Что это, Елыман?

Я, громко шмыгая, утираюсь ладошкой.

— Опять отгадал, — добродушно смеется отец.

Тихо смеется и гармонщик. Карандаш его вздрагивает. На бумаге уже высыпала орава ребят с клюшками. Они загоняют шар в лунку.

Иногда гармонщик просиживал у нас до поздней ночи. Мать

тоже подсаживалась к столу с шитьем. Я слезал с полатей, забивался в угол за стол и затихал. Я любил слушать, когда отец рассказывал о своей прежней жизни.

— … Нынче ребята играючи живут. Я вот с десяти лет в работу дошёл. В наше время рабочие не просились в завод на работу, а сам барин прикажет своему приказчику: «Вот таких-то, по таким-то ревизским сказкам, выгоняй на работу…» Не спрашивали: молод ли, способен ли.

И отец рассказал, как он однажды обморозил ноги;

— Мороз был — воробьи на лету падали. А нас, вот таких ребятишек, выгнали на заводскую плотину щепу собирать. На ногах-то — у кого сапоженешки худые, у кого лаптишки, а на руках варежки плохонькие. С меня насилу сапожонки сдернули, — пристыли они к подошвам, — а как сняли, так ноги-то, как баклушки… Если бы жизнь мою кто-нибудь описал, жуткая бы повесть была!

Отец одну за другой развертывает картины прошлого.

— А помнишь, отец, тебя в солдаты хотели отдать! — напоминает мать.

— Да, под красную шапку. За то, что я, вместо двух запоров, у плотины один запор открыл. Плотинным я в ту пору был. Горюшка немало приняли тогда мои отец и мать. Три дня в ногах валялся у барина. А барин строгий, злой был, как зверь… Дорого стоил мне этот запор! День на заводе работаю, а ночь — на барском дворе, на конюшне… И так — целых полгода. Ладно, сдох о ту пору старый-то барин, а приехал молодой, да и воля как раз пришла.

Слушая рассказы отца, я смотрю мысленно в прошлое. Оно точно близко возле меня, обнимает холодным дыханием. Мне становится холодно. Я жмусь к матери и слышу в её груди ровные, тихие удары сердца.

— А вот когда наводнение-то было! — говорит мать.

Должно быть, этот случай был самой интересной страницей в жизни отца. Он закидывает темнорусые волосы назад, обнажая широкий лоб, и рассказывает:

— В Верхнем Тагиле плотину прорвало. Послали гонца к нам — предупредить. Он, как пригнал лошадь, остановил возле конторы, она свалилась и сгибла, — загнал. Ну, сейчас тревожные гудки. Собралось всё население. Всех коней в ту пору, как на войну, мобилизовали.

И вот я говорю: «Если хотите, чтобы всё было в порядке, слушайте меня…» Все в один голос: «Слушаем все, всё сделаем». Разделил я народ на три артели. Одну артель заставил тяжести на плотину возить, на мосты тоже, другую послал на береговые

улицы — имущество у рабочих спасать, на гору вывозить, а третью — вниз по реке Тагилу, с лугов сено вывозить на высокие места…

— И всё спасли? — спрашивает гармонщик.

— Работали крепко, всё сделали.

А расскажи, отец, как ты по канату в воду спускался, когда мост укрепляли.

— Ну, уж это ты рассказывай. Ты возле каната стояла, караулила.

Мать поднимает на лоб очки и, улыбаясь, рассказывает:

— Как спустился он, я взялась за канат и держусь… Ни жива, ни мертва… А Худояров подошел с топором и говорит: «Вот взять, Федоровна, да по канату — топором, и пропал твой Петро Федорыч…» Я так на канат и упала… «Уж лучше и меня вместе с канатом: разрубай!»

- ??? — Я там на сваи петли накладывал. Вода через плотину пыха» а мост-то ходуном ходил, — поясняет отец. — Отстояли…

Часто беседы затягивались до поздней ночи. Иной раз отец, утомленный работой на заводе, шутливо говорил гармонщику:

— Ну, милые гости, не пора ли вам спать?

Гармонщик, конфузливо улыбаясь, уходил, но не обижался на отца. Мать упрекала:

— Что ты, отец, так его?

— Ничего, свой человек, не обидится.

В конце зимы гармонщик слег в постель. А спустя три месяца, вечером за чаем, мать смахнула фартуком слезу и тихо молвила:

— Отец, гармонщик-то помер.

Отец, как поднес ко рту блюдце с чаем, так и замер, а мать дрожащим голосом продолжала:

— Чуяла я, что он уйдет с водой, так и вышло. Уж больно кашлял.

Утром, когда я проснулся, передо мной сразу встал образ гармонщика. Мне казалось, что он родной, как Большак. Я чувствовал, что мать и отец тоже любили его.

Весной, в теплый день, мы с матерью стояли на кладбище возле свежей могилы. Комья глины обмякли, склеились. Мать печально смотрела на могилу и молчала. Меня давило это грустное молчание. Давила и настороженная тишина кладбища и тишина густо разросшихся деревьев. Возле могилы гармонщика стояла вековая сосна; её медно-красный ствол — прямой, как свеча, а зеленые ветви широко раскинулись, прикрывая могилу от жаркого солнца. В вершине сосны тихо посвистывал щегленок.

# СИРОТА

Лежа на полатях, я часто слышал такие беседы отца с матерью:

— … Не знаю, отец, как быть. Фелицату вот замуж надо отдать, а из каких достатков?… Большака надо сряжать… Возьмут его у нас в солдатчину.

В голосе матери слышалась тоска, а отец, обдумывая что-то, ободряюще говорил:

— Ну, мать, раньше времени не умирай. Как-нибудь вывернемся. Ну, в долг залезем. Что же поделаешь?… Поработать покрепче придется…

— Жаль, отец, мне тебя… Здоровье твое никудышное. Береги себя-то… Беда, какой грех случится, куда я с семьищей-то?

— Ты меня раньше времени-то не хорони. Я еще в силе… У-у, да мы еще с тобой так заживем, что всем в нос бросится!.. Девку замуж отдадим, ребята подрастут, на ноги встанут. Легко жить будет. Ребята у нас неглупые растут… Отплатят нам за всю, за всю нужду, что мы пережили. Не хнычь, мать, не хнычь, родная!

И мать веселела. Её темные глаза зажигались мечтой. Она снова проворно работала в кухне, стирала белье, стряпала, мыла.

Но под осень печаль пришла и к отцу. Он сразу примолк и с тоской смотрел на Большака. Ничего не говорил, только, бывало, крякнет и уйдет в другую комнату. Мать это замечала. Она заботливо спрашивала:

— Ты чего, отец?

— Ничего, мать, так я…

Но голос отца был нетверд:

— Не верится… Неужели у меня Большака отнимут, возьмут в солдаты?…

— Ну, никто, как бог.

— Бог-то бог, а забреют, так и бог нипочем.

Чем ближе подходили дни рекрутчины, тем отец становился мрачнее.

А однажды, октябрьским вечером, они пришли с Большаком домой, убитые горем. На шапке Александра был приколот большой белый цветок.

Отец шумно стащил с себя бараний полушубок, бросил в угол шапку и голосом, полным тоски, тихо сказал:

— Мать, посмотри-ка на Большака-то, испекся он. Да чтоб им всем было лихо! Ну, кто это придумал? «За веру, царя и отечество» служить… Прости ты меня, милостивый господи!

Мать смотрела на сына. Брови её дрогнули, в глазах

заискрились слезы. Она подобрала подол фартука, закрыла им свое лицо и опустилась на лавку.

— Как это скричали: «Принят в строй!» — рассказывал отец, — у меня и шайка из рук выпала…

Я тоже жалел Большака. Мне вспомнилось, как он вечерами показывал мне в книжке буквы, картинки. Какой он был ласковый и хороший!

Загуляли рекруты.

Каждый день я выбегаю на улицу с санками, кататься с горы, и наблюдаю: на парах, на тройках лошадей, убранных цветами, запряженных в кошевки, разъезжают по улицам рекруты. Они — в праздничных шубах, на больших меховых шапках приколоты цветы, а в руках разноцветные платки. Красные от мороза, от горя и выпитой водки, они размахивают платками и под визгливый перебор гармоники распевают:

Эх, мамонька родимая,
Выгляни в окошечко:
Рекрута катаются,
Слезами уливаются.

Песне вторит хор бубенцов и колокольчиков. Всё это вторгалось в серую жизнь заводского селения, нарушая её покой.

Я был дома и не видел, как отец и мать простились с Большаком на вокзале. Большака не стало. Помню его печальное, опухшее от слез лицо. Когда он поднял меня и прижал к себе, я почувствовал, как мне на щеку закапали его теплые слезы. Весь этот день, не сходя с полатей, я просидел, подавленный тоскою, дожидаясь отца и матери.

Они пришли и ни о чем не разговаривали. Только вечером, когда стали укладываться спать, отец вздохнул:

— Ушел — и как полдома унес с собой… Эх, жизнь наша!..

Он будто сразу постарел. В бороде ясней белели тонкие нити седых волос, брови приопустились, а на высоком лбу глубже залегли морщинки. Он стал снисходительней и даже ласковей к нам. Часто ласкал нас с Ленькой.

Иной раз, приходя с работы, не раздеваясь, он нараспев говорил:

— А кто-то меня да поцелует?

Мы бросались с Ленькой вперегонки к отцу. Я вскакивал на скамейку, охватывал его шею и целовал. От него пахло морозом. Отец целовал нас по очереди и медленно совал руку за пазуху, отыскивая там что-то. Мы нетерпеливо ждали. Он доставал две грошевые конфеты и подавал нам.

Мне нравились эти круглые конфеты, завернутые в яркокрасные или зеленые бумажки. На концах их были длинные кисти, а по всей конфете вилась золотая лента.

Однажды он купил мне сахарные карманные часы. Циферблат украшали золотые стрелки и цифры. Я привязал к часам шнурок, надел на шею, а часы спрятал за пазуху.

— Надо карман для часов к рубахе-то пришить, — смеясь, сказал отец.

Мать взяла лоскуток ситца и пришила к рубашке карман. Я важно вложил в него часы, ежеминутно доставал и смотрел, сколько времени. Отец спрашивал:

— Елыман, а сколько время, не пора ли спать?

— Без четверти пять минут, — отвечал я.

— О-о, много уж. Пора, значит, ужинать да спать.

У Леньки была сахарная лошадка, но пока он делал из ниток ей хомут, не утерпел и отъел ноги. Отец, смеясь, заметил:

— Как же это ты на безногой-то лошади поедешь?

Ленька подумал и съел всю лошадь.

Меня часы тоже соблазняли. Я смотрел на них и каждый раз откусывал понемногу. Циферблат уже был съеден, осталось одно колечко, но я закладывал его в карман. И до тех пор носил, пока от часов не остался один шнурок.

Веселое настроение отца было только видимым. Часто он умолкал, сидя за столом, и задумывался, — он тосковал о Большаке.

А однажды ночью соскочил с постели и поспешно стал одеваться.

— Ты куда, отец? — спросила мать.

— Не слышишь, что ли, Большак пришел?… Во… слышь, ходит под окном… Сейчас стучал.

Мать тревожно прислушалась. Но за окном было тихо.

— Никого нет… Сотвори-ка молитву, отец, чтой-то с тобой!

Отец вздохнул и снова улегся в постель. Я слышал в эту ночь, как он тихо плакал.

* * *

Была поздняя осень. Черным ноябрьским вечером моего отца привезли домой. Он дрожал, зубы его стучали, темнорусая борода, побеленная сединой, странно тряслась. Одежда его была мокрая. Я никогда не видал его таким.

Он лежал на широкой деревянной кровати, закутанный пестрым стеганым одеялом, сшитым из разноцветных треугольных лоскутков, вздрагивал, точно кто его дергал, и кровать под ним глухо поскрипывала. Я тоскливо смотрел, как он кутался с головой и сердито говорил: «Да закрывайте вы двери-то!..», хотя двери были закрыты.

Мать, утирая глаза подолом фартука, молча всхлипывала, потом плачущим голосом сказала:

— Олешунька, беги скорей за фершалом.

Надернув сапожишки, отцовский пиджак, смятую фуражку с полуоторванным козырьком, я стремглав помчался за фельдшером. На улице дул ледяной ветер-поземок и слепил глаза мокрыми хлопьями снега. Ноги мои сразу промокли, но я не чувствовал этого.

Фельдшер, просунув голову в двери парадного крыльца, угрюмо выслушал меня. Его правый большой ус, посеребренный сединой, шевелился, отчего лицо казалось еще более сердитым.

— Ладно, — сказал он и захлопнул дверь.

Вечером пришли навестить отца плотинные рабочие. Они печально сидели возле него. Отец взмахивал руками. На щеках его играл незнакомый мне румянец. Он, не мигал, смотрел в потолок, что-то шептал, невнятно бормотал — и вдруг, вытянув руку, громко закричал:

— Веревку, ребята, веревку!

В комнате было тихо. Только где-то в темном углу жужжала муха, да на стене часы отсчитывали время.

Старый плотник Елизарыч, низенький квадратный человек, тихо рассказывал матери:

— … Трубы мы делали от плотины к прокатным станам. Работали, как на пожаре, чтобы до заморозков закончить их. Управитель всё время бегал, торопил нас, ругался. Трубу для воды сделать — не корыто выдолбить. В ней давление большое. Петро топора из рук не выпускал. Ну, значит, трубы как закончили, опробовать их вздумали. Петро-то, видно, позамешкался в трубе-то. Мужик, вишь, он больно аккуратный. Всё ему надо так, чтобы комар носу не подточил… А в это время взяли да запор открыли. Ну, и… Как только успели его выдернуть? Как он не захлебнулся? Остыл…

Через три дня отца положили в больницу. Я часто ходил навещать его. Он уже не вставал с койки. Его лицо осунулось, а глаза блестели сухим блеском.

Однажды в палате, возле его койки, собралось много людей. Пришел поп, маленький пузатый человек. Надел на себя темную, без рукавов, ризу. Возле него хлопотал тощий белобрысый

псаломщик с кадилом. Отца соборовали маслом.

Я слыхал, что люди соборуются маслом перед смертью. Мне стало тяжело при мысли, что и мой отец скоро умрет. Я не мог себе представить, как будет лежать отец в могиле.

Он снова в прошлом — живой, улыбающийся. Приходит с работы, отворяет дверь и ласково, нараспев говорит:

— А кто-то меня да поцелует? — и достает две конфетки.

Иногда вместо конфет он вывязывает из красного платка не доеденный на работе хлеб, разламывает его и делит меж нами.

— Лиса пекла, — говорит он.

Хлеб был замазан заводской грязью, но мы с Ленькой дрались из-за него.

А бывало, что отец ничего не приносил, но, как всегда, говорил:

— А кто-то меня да поцелует?…

А вот сейчас отец лежит на койке, слушает дрожащий голос попа позвякивание кадила, козлиный торопливый распев дьячка:

— Под-а-а-й, господи!.. Тебе, господи!..

Слушает, и в глазах его искрятся слезы. Борода мягко лежит на груди редкими прядями. Мать стоит у изголовья, тихо плачет.

* * *

Отец хворал долго.

Поздно ночью меня разбудил глухой вой матери. Она пришла из больницы, свалилась, не раздеваясь, на кровать и забилась в глухом рыдании.

Я понял, что отец мой умер. Но я не встал, а завернулся с головой в одеяло и так пролежал до утра. Ленька спал рядом со мной.

Отца привезли утром на дровнях, завернутого в одеяло, а к обеду пришел обмывальщик Агапыч, с большой шишкой на затылке. Он обмыл покойника. Мать и сестра одели отца в белое и положили на длинный стол.

Мать смотрела на отца долгим тоскующим взглядом. Лицо её вдруг потемнело, губы дрогнули.

— Родимый мой… Куда это ты срядился?… — закричала она и упала к нему на грудь.

Раньше я никогда не видел, чтобы мать плакала. Агапыч подал мне крынку и сказал:

— На-ка, мальчик, снеси куда-нибудь в чистое место, где ни

люди, ни собаки не ходят.

Я взял крынку и заглянул в неё. Там лежал небольшой обмылок, новый гребень, мочалка и клок темнорусых отцовских волос.

Я не знал, где найти это чистое место. Но потом вспомнил: в задах соседнего огорода была вырыта большая яма, где когда-то ломали камень под фундамент. Я побежал туда и бросил крынку. Она глухо треснула и развалилась. Мыло, гребень и мочалка вывалились.

* * *

Через год умерла и мать. И умерла неожиданно. Напилась чаю с Фелицатой, проводила её за ворота, пришла в избу, пошатнулась у вешалки и осела.

Тот же усатый фельдшер приехал, молча осмотрел и сказал:

— Удар!

После похорон осталась дома старуха-соседка Тимофеевна в длинном косоклинном сарафане. Она притянула меня к себе и, пригладив мои волосы, спросила:

— Ну, как теперь жить-то будете?

Ленька забился в угол, а Тимофеевна продолжала:

— Сколь тебе годков-то?

— Семь, восьмой, — сказал я.

— Легко ли дело!

Я смотрел на добродушное лицо Тимофеевны, изрезанное густой сетью морщин, и молчал: я не знал, как теперь будем жить…

Ленька тоже молчал. Он приподнял брови и, часто мигая, что-то расковыривал в щели столешницы.

Я вспоминал мать — черноволосую, с добрыми карими глазами. В моей памяти отчетливо встали её слова: «Не троньте вы его у меня, он — сирота».

И вот теперь это слово встало передо мной со всей ясностью.

Я посмотрел на Леньку и заплакал.

# НОВАЯ МАТЬ

Павел сильно изменился после смерти отца. Он быстро вытянулся ростом. Белый, тонкий, щеголеватый, он как-то стал чище. Всегда на нем хорошо вычищенные брюки и пиджак. Светлорусые волосы зачесаны косым рядом, а на верхней губе выступает чуть заметный пушок. Малышка всегда подкручивал его. Я мысленно смеялся: «И усов-то нету, а закручивает». Он широко расправлял свои плечи и ходил вперевалку, как ходят сильные люди.

Вскоре в доме появилась женщина: Павел женился. В тот день было очень шумно. Невесту привезли на взмыленной лошади, убранную цветами, в белом шелковом платье. Вместе с ней привезли сундуки, коробки. Три дня дом гудел пьяным весельем. Пили водку, много ели, били посуду.

Старая толстая женщина, которую, я слышал, тихонько называли «Модунихой», в цветистом сарафане и кисейной рубахе, принесла со двора корчагу с засохшей растворенной известью, встала посреди комнаты и свирепо бросила её на пол.

Комната закачалась от хохота. Корчага развалилась с грохотом, а известь осела кучей белого теста. Потом молодая жена Павла принялась заметать черепки. Под веник ей бросали медные пятаки и трешники. Фелицата, раскрасневшаяся, бегала по комнате и расшвыривала черепки. А на третий день после свадьбы Павел позвал нас с Ленькой и объявил:

— Вот, ребята, вам новая мать. Слушайтесь её.

Я смотрел на новую мать. Низенькая, с круглым белым лицом, она сидела на стуле, нарядная, спокойная, положив ногу на ногу, и курила толстую папиросу. Слегка улыбаясь, она смотрела то на меня, то на Леньку.

Я стал внимательно присматриваться к снохе и заметил, что хохотала она очень громко, обнажая при этом два ряда белых красивых зубов.

Комната наполнилась новыми вещами. Появилась кровать, покрытая розовым покрывалом, из-под которого свешивалась кайма белых кружев. Высоко взбитые подушки розовели в кружевных наволочках. Над кроватью свисал зеленоватый, с тяжелыми кистями, полог. К стене встал комод с фарфоровыми статуэтками, раковинами, коробкой с пудрой, красивыми флаконами с духами. А посреди стояло складное полукруглое толстое зеркало в бархатной драпировке. Пол был застлан шерстяными половиками, а на дверях и окнах висели нарядные занавески.

Мне нравился душистый полумрак комнаты. Думалось, что к нам поселилась какая-то особенная женщина. Я знал, что её зовут Екатериной, но при разговоре с ней я стеснялся и никак её не называл. Ленька скоро стал её звать Катей.

Катя вставала утром, и первые слова её были:

— Олеха, неси-ка дров.

Я уже привык к этому «Олеха». Иногда она кричала:

— Олешка, поезжай-ка за водой!

Я надевал женскую ватную кофту, подпоясывался веревкой, надевал на ноги большие растоптанные валенки и выходил во двор. Там брал маленькие санки-дровешки, ставил на них обледенелую, как облитую стеклом, тяжелую кадку и отправлялся за водой на реку. «Поехал», думал я. Смешным казалось, что я ехал, а на самом деле шел по укатанной дороге и тащил за собой кадку на дровешках. «А кто же меня везет, если я еду?»

Путешествия за водой не всегда проходили спокойно, без приключений. Быстрая горная река Тагил в зиму неоднократно застывала и вскрывалась.

Как-то раз, морозным утром, я подкатил с дровешками к реке и залюбовался. Река покрылась блестящим, чистым, как стекло, льдом. По льду бегали на коньках ребята, постукивая клюшками. От удара лед тяжело вздыхал. А там, где было много катающихся, он беспрерывно трещал. Коньков у меня не было, но постучать по льду палкой я был большой любитель.

Недалеко, на подернутой тонким ледком полынье, лежала палочка. Я наклонился, чтобы её достать, но она была далеко, Я лег на брюхо и пополз, но достать все-таки не мог. Пододвинулся ближе, встал на четвереньки и, навалившись одной рукой на тонкий лед, потянулся другой к палочке.

Палка крепко вмерзла. Я не мог её оторвать. Увлеченный работой, я забыл, что у меня под рукой очень тонкий лед, потянулся ближе к палке. И вот лед под рукой треснул, проломился, я вскрикнул и нырнул в воду. Ногами уцепился за толстый лед-забережник. Чувствую, тело мое обожгло ледяной водой. Я уходил под лед.

Вдруг слышу, кто-то меня потянул за ногу. С трудом вылез, вскочил на ноги. Предо мной стояла незнакомая женщина с ведрами на коромысле.

— Куда тебя черти-то понесли? — сердито кричала она. — Заколел, поди… Чей ты? Беги скорей домой!

Я стремглав бросился домой. Одежда на мне быстро заледенела, стала жесткой, хрустящей. Волосы застыли. Прохожие провожали меня любопытными взглядами.

Когда я прибежал домой, Катя удивленно всплеснула руками

и крикнула:

— Да не Олешка ли! Да не варнак ли! Утонул?! А кадка где?

— На реке осталась… — сдерживая слезы, сказал я.

— Залезай скорей на печку, что ли… — стаскивая с меня мокрую рубашку, говорила Катя. — Кататься, поди, по льду понесло? Экий ты человечек!..

Я залез на печь, а Катя поспешно оделась и убежала на реку за кадушкой. Вернулась добродушно-веселой. Таская воду из кадки в избу, она беззлобно ворчала:

— Постукал палочкой… Вот тебе наука… Вот еще захвораешь и умрёшь. Тогда будешь знать…

Я отогревался, тело мое горело, и мне было жарко на печи. Вспоминая, как я нырнул в воду, я громко расхохотался. Катя, приподняв брови, искоса посмотрела на меня:

— А он еще ржёт… Смешно!

В другой раз, посылая меня за водой, она строго наказала:

— Смотри, скорее у меня! А если опять выкупаешься, и домой не пущу. И есть тебе не дам, пока воды не привезешь.

*На реке катались ребята.*

Я с вожделением посмотрел на испеченную на шестке лепешку и поспешно направился на речку. Торопливо начерпал в кадку воды. На реке по-прежнему катались ребята. Ко мне

подъехал на коньках Попка Думнов.

— Олешка, айда кататься!

— У меня коньков нету.

— На, я тебе дам… Я накатался.

Попка сбросил коньки и помог мне привязать их к моим валенкам. Я ни разу еще не катался и стоял на коньках, точно на лезвиях ножей. А когда покатился, сразу упал, стукнувшись затылком об лед. Из глаз побежали слезы.

Разумеется, о кадушке с водой и о лепешках позабыл. Уехал на середину реки. Я не слыхал, как меня звала Катя. Только случайно взглянув на берег, я обнаружил, что кадка с санками исчезла. Попки на берегу не было: он убежал домой.

И я, чуть не плача, побежал домой, но во двор сразу не вошел, а заглянул в подворотню: под навесом стояли санки с кадушкой, а Катя носила в избу воду.

Она меня встретила молча. Я разделся и залез на печь. Печка уже протопилась, лепешек не было видно, и самовар спокойно стоял в углу. Катя, должно быть, уже напилась чаю. В комнате тихо. Катя молчит. Меня это молчание угнетает. Лучше, если бы она меня отругала.

Я выглянул через отверстие у трубы: она, сердито сжав губы, крошила картошку.

— Что примолк, молодец? — наконец заговорила Катя. — Видно, знает кошка, чье мясо съела?

Я промолчал.

— Не дам я тебе есть… Покатался на коньках, значит, сыт.

Я боялся, что она пожалуется Павлу, но она ничего не сказала ему. Каждое утро Катя подолгу сидела в одной рубахе на смятой кровати и, свесив одну ногу, курила. Волосы её, сбитые на один бок, густой прядью прикрывали обнаженное круглое плечо. Сидела она молча. Иной раз крикнет:

— Олеха, посмотри-ка квашенку! Выкисла ли?

Я залезал на печь и заглядывал в маленькую деревянную кадушку. Я уже умел определять, выкисла квашня или нет.

— Выкисла уж! Осела, — сообщал я.

Замесив квашню, она торопливо повязывала всклокоченную голову зеленым полушалком, надевала на одну руку ватную кофту и, захватив с собой табак и длинный камышевый мундштук, поспешно уходила к соседям — посидеть.

Печь протапливалась, квашня на печи, туго завязанная большой холщевой тряпкой, вздувалась. Я бежал искать сноху. Положив ногу на ногу, она разговаривала с соседкой, покуривая кручонку из длинного мундштука.

— Катя, печка-то протопилась, — говорил я.

— Ой, батюшки, я и забыла!

Она всплескивала руками, соскакивала с места, но на пороге все-таки еще останавливалась, чтобы докончить разговор.

В другой раз я влип рукой в жидкое тесто на печи и закричал:

— Катя, квашня-то уплыла!

Она торопливо завозилась на кровати и заворчала полушопотом:

— Будь ты проклят!

Началась торопливая работа. Я побежал во двор за дровами, а она, собрав тесто с кирпичей, положила его обратно в квашню и принялась месить.

Я заметил ей, что на кирпичах вчера лежали портянки. Она, торопливо взбучивая тесто, грозно мне крикнула: — С погани не треснешь!

Я думал: «Как человек меняется!» В первые дни она была сдержанно ласкова, иногда шутила, и я тянулся к ней. Но ласкать она, очевидно, не умела. Потеребит меня за волосы и оттолкнет. А теперь, видя её такой сердитой, я боялся и говорить. Жизнь тихо меркла, как меркнет серый день. Павел приходил с работы молчаливый, всегда чем-то недовольный и нервный. С Екатериной у него начинались ссоры. Иногда она рылась в своих сундуках, доставала платья. Печально рассматривала их, вытирая слезы, свертывала и куда-то уносила. После этого в доме появлялся каравай белого хлеба.

Отношение Екатерины ко мне и Леньке натянулось, как струна. Особенно ко мне. Ленька с утра уходил работать к сапожнику и часто приходил оттуда сытый. А я, сидя за столом, чувствовал, что каждый кусок, отправляемый мною в рот, сопровождается сердитыми взглядами брата и снохи. Но я не обижался, — я знал, почему это.

Я видел, что Павел изнемогает в работе. Днем он на заводе, а вечером спускается вниз, в подвал, где у него стоит верстак со множеством стамесок, долот. До глухой ночи он там строгает, а Екатерина сидит на куче смолисто-пахучих стружек, штопает чулки или что-нибудь зашивает, накладывая огромные заплаты. А я тоже сижу возле, строгаю, мастерю клетки для птиц.

Иной раз Павел, смотря на жену, говорил:

— Ступай, Катюха, спи.

Но та, качая головой, говорила:

— Ну что, я спать буду, а ты тут…

Она смолкала и погружалась в работу. Стружки под ней хрустели. Но иногда глаза её слипались. Уткнув голову в стружки, согнувшись, она засыпала.

Часто Павел пел за работой. У него был сочный тенор, но

любил он петь басом. И пел больше песню:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село…

Я очень любил эту песню. И особенно нравилось мне, когда он пел:

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Предо мной ясно встает образ стрелка. Мне жаль до боли стрелка, закопанного в могилу, на которую спустилась птичка и, чирикнув, улетела в кусты.

Павел и Екатерина тоже, должно быть, были под впечатлением этой песни. В обширном помещении подвала наступала тишина. Павел склонялся над чисто выструганными досками, что-то на них чертил. размечал. Маленькая керосиновая лампа скупо освещала черный потолок и досчатые стены. Где-то, попискивая, скреблась мышь. С улицы смотрели крохотные черные окна.

Вечерами я часто уходил к дяде Феде. Он жил через два дома от нас, в узенькой высокой избе на два окна. Дядя, должно быть, когда-то замыслил построить двухэтажный дом, но не смог даже прорубить окно вверху, так и остался жить внизу. Дядя слыл по городу лучшим мастером-шорником, но пил он запоем. Когда после двухнедельного пьяного разгула он протрезвлялся, то крепко прирастал к сидухе-дуплянке, обтянутой кожей, шил день и ночь хомуты, седёлки, шлеи.

Он был искусный сказочник, и сказки его были одна другой интересней.

В просторную заднюю комнату с низким потолком, где он обычно работал, сидя у верстака, заваленного шильями, ножами, каждый вечер приходил кто-нибудь из соседей. Чаще других приходил сосед Федор Иванович Зыков, доменный рабочий, по прозвищу «Мара». В нагольном рваном тулупе, в валенках, в старой, истертой бобровой шапке, он, не раздеваясь, садился в темный угол на пол. Тетка Аксинья — жена дяди Феди, сухолицая женщина — подсаживалась с починкой. В углу тихонько играла в куклы Ольга — дочь дяди Феди, бойкая, черная, как цыганка, девочка. Сын дяди — восьмилетний толстый мальчик с губастым, изрытым оспой лицом — сидел у верстака, сложив ноги калачиком.

Жарко топится железная печка. В избе полумрак. Пахнет кожей. За окном подвывает вьюга, пошевеливая ставнями, отчего они тихонько поскрипывают на петлях, будто кто-то, играючи, то прикрывает их, то снова открывает. А иногда зимняя метелица настойчиво дергает за ставни, стучит, точно плачет, а потом, дико воя, уносится на пустырь, в непроглядную мглу ночи.

В руках дяди мелькает острое шило, и ловко вонзается щетинка в кожу. Руки равномерно взмахивают. Веревочка шуршит.

Черный, широкобородый, с быстрыми глазами, дядя Федя загорался, когда рассказывал.

— … Так вот, Нетужилка порядился в работники к попу. Не за деньги — условность они такую заключили, — начинает рассказ дядя, весело поблескивая бойкими черными глазами: — поп должен Нету-жилку поить, кормить, одевать, обувать, а если рассердится поп, Нетужилка, значит, вырезает у попа из спины ремень, из ляжки — пряжку, а ежели Нетужилка рассердится, то поп вырезает у Нетужилки.

Утром Нетужилка завтракать встает. Попадья хлопочет, щей ему несет, каши, крынку молока. Нетужилка съел.

«Разве сразу пообедать?» Нетужилка говорит.

Поп косится, бороду теребит, но сердиться нельзя.

«Что же, матушка, давай. Уж за одним покушает работник, и за дело», говорит он попадье.

Нетужилка чашку щей еще съел, каши полгоршка скушал. Бороду погладил, квасу выпил жбан, крякнул и сказал:

«За одним уж, матушка, и поужинать давай. Время зря потом терять не стоит. Сразу, под запал».

«Господи Исусе!» думает попадья. Вылила остатки щей, хлеба полковриги сунула на стол.

Нетужилка съел и говорит опять:

«После паужины и ужин недалече, — давай, уж подавай, родная».

Поп сидит в кути, надулся, смотрит, как жена вынула горшок с лапшой из печки. А лашпа-то со свининой, жирная: вечером зарезал Нетужилка борова, — тот с жиру разучился уже ходить. У попа в носу свербит, пахнет вкусно, слюни потекли. Нетужилка полгоршка лашпички спрятал. Выпил молочка, вылез, богу помолился, шлепнул по брюху себя и говорит:

«Господь напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел. После хлеба, после соли отдохнуть не грех…» — и на полати.

Перед вечером Нетужилка соскакивает с полатей и кричит:

«Поп, давай работы!»

Мы хохочем, ошеломленные концом сказки, а дядя Федя уже дальше рассказывает о том, как Нетужилка едет на старую, заброшенную мельницу, где поселились черти.

Передо мной встает Нетужилка — смышленый, проворный, ловкий парень. Он верно предугадывает всё, что с ним должно случиться. Сильный, никого не боится, ловко обманывает чертей, выгоняет их из пекла, заставляет работать, плясать.

Я засиживался у дяди до позднего вечера, уходил только тогда, когда дядя устало поднимался со своей сидухи и, расправляя уставшие руки, говорил:

— Ну, будет, ребята. У меня говорилка устала… Завтра…

Я уходил от дяди веселый и хохотал почти вслух, вспоминая историю, как Нетужилка вез с мельницы муку на чертях, а поп на кобыле загораживал им путь крестом.

# ДАРМОЕД

Голод крепчал. Я часто слыхал, как Павел сердито говорил:

— Эх, жизнь проклятая!.. Катюха, хлеб-от… а? Ржанина — два рубля, а мне — всё еще цена сорок копеек в день.

Екатерина молча вздыхала, а я затихал на печке. Однажды Павел пришел радостный и сообщил:

— Катюха, беги скорей в волость. Там хлеб дают на голодающих.

Екатерина наскоро оделась и ушла. Пришла она часа через три, измученная, и положила на стол тяжелую ковригу ржаного хлеба.

— Думаешь, даром? Даром-то за амбаром. Заняла денег-то. Вот тут на полтора рубля.

Павел отрезал хлеба, сунул ломоть мне. На зубах у меня что-то хрустнуло, точно я в рот положил горсть песку. Но мне казалось, что я сроду не ел такого вкусного хлеба. А Павел, доедая свой ломоть, со злобной усмешкой сказал:

— И тут наживают деньги. Земля! Одна земля, а не хлеб. Эх, гады!

Заговорили о холере. Каждый день приносил всё новое. Жители с раннего вечера наглухо закрывали ставни окон.

Рассказывали, что на Гальянке, в заречной части селения, ночами жители вооружались, кто чем мог, и ходили по улицам — искали холеру. Однажды убили женщину в белом платье, стащили её на окраину селения и бросили в Сидоров лог.

По утрам, проводив Павла на работу, Екатерина вставала и молча ходила по комнатам. Она словно что-то искала. Обычно утром она кипятила маленький тяжелый самовар, и мы садились пить чай. Но теперь самовар стоял нетронутым в углу, прикрытый кисейным пологом.

Потолкавшись дома, Екатерина уходила к соседям, а я залезал на печку и делал скрипки. Натягивал на дощечку струны из ниток, во дворе выдергивал прут из метелки и делал смычок. Потом подставлял в угол табуретку, доставал с божницы восковую свечку и натирал воском струны и смычок. Иной раз нас с Ленькой приходила навестить сестра. Она совала нам тайком кусок хлеба. Я уходил куда-нибудь в угол и торопливо жевал его.

Я не обижался на Екатерину, что она меня не кормит: я знал, что она и сама голодная.

Вот сегодня утром Павел тихо спросил:

— Катюха, есть чего поисть-то?

Она так же тихо отозвалась:

— Нету. Горсти две-три муки есть, ржаной.

— Давай, хоть завариху сделай.

Екатерина вскипятила самовар и заварила в чашке муку. Вышел жидкий клейстер, какой я часто потом разводил в деревянной ложке, когда клеил змейки.

Екатерина вывалила завариху на сковородку и намазала конопляным маслом. Павел жадно принялся есть. Он морщился, громко сопел носом и ел, обжигаясь. Вдруг он как-то беспокойно заерзал на стуле, замотал головой и тяжело застонал:

— Э-э-э!..

Торопливо сунул пальцы под язык, точно ему попал туда раскаленный камень, и, вытащив бурый комок заварихи, шлепнул его со всего размаху в сковородку, выругался и вылез из-за стола. А потом покосился на божницу и сердито добавил:

— К чорту! И молиться не буду.

Я фыркнул на печи, а Павел, погрозив мне кулаком, крикнул:

— Ты, дармоед, там не фыркай! — и шумно хлопнул дверью.

Я почувствовал, как слово «дармоед» тяжелым гнетом навалилось на меня. Я собрался в тот же день и ушел к сестре.

Сестра жила в маленькой кособокой избушке, рядом с небольшой, но крепкой избой свекра, на широкой улице, поросшей травой. Я не пожаловался сестре, но она, должно быть, поняла, почему я пришел.

Сестра хлопотала в кухне. Пахло свежеиспеченным хлебом. В зыбке лежал годовалый Петька. Я сел возле зыбки и стал его качать.

В избу вошла свекровь сестры. Я её видел и прежде. Маленькая, с густой сеткой морщин на сухом тонконосом лице, она, казалось, не умела улыбаться. Войдя в комнату, она перекрестилась, деловито обвела её хозяйским взглядом, потом вопросительно посмотрела на меня и особенно на кусок ржаного хлеба в моей руке.

— Рано прибежал. Что, тебя дома-то не кормят, видно? — спросила она сухим, надтреснутым голосом.

Я промолчал. Свекровь подсела ко мне на лавку:

— Взять бы тебя в няньки, да кормить надо. А хлеба-то нонче, ишь как! Аржаного — и того скоро-то не добудешь.

Вечером пришел Матвей Кузьмич с работы. От него пахло мазутом. В полумраке странно белели его зубы и белки глаз. Они точно освещали замусоренное заводской пылью сухощавое лицо. Улыбаясь, он спросил меня:

— Ну, как дела-то, Олеха?

— Помаленьку, — сказал я.

— Ну, вот, то и есть… К нам пришел?

— Пришел.

— Ну, вот, то и есть… Погости.

Он долго полоскался у рукомойника, фыркал, а умывшись, подошел к зыбке, любовно заглянул в неё и ласково проговорил:

— Ну-ка, чего у меня сын делает?

У него был нетвердый, вздрагивающий голос.

За чаем сестра рассказала обо мне.

Матвей Кузьмич подумал и решительно проговорил:

— Ну, и ладно! Наплевать на них! У нас поживет пусть. Как-нибудь протащим…

В этот вечер я лежал на печи у сестры. Было тепло, я забыл голод и жадно слушал, как сестра, качая зыбку, укладывала Петьку спать.

Мне вспомнилась мать и её колыбельные песни. Я закрываю глаза, и мне чудится, что это она поет, и я уношусь куда-то на легких крыльях.

У котика, у кота
Колыбелька золота.
А у нашего Петеньки
Лучше была:
Новоточенная,
Позолоченная.
А кольчики-пробойчики —
Серебряные.
А шнурочки-веревочки —
Все шелковые.
Петя соболем одет,
И куница — в головах.
Спит мой Петенька,
Не будите его.
Сон ходит по сеням,
Дрёма — по терему.
Они ищут, поищут
Петеньку.
Только где его найдут,
Там и спать укладут.
Лежит Петя в терему,
В шитом браном пологу
И за занавесью.

Мне хочется плакать. Но слезы у меня точно застряли в горле.

С тех пор, как я поселился у сестры, моя жизнь как будто

стала светлей. Точно в серый, холодный день разорвались толстые пласты неприветливых облаков и на меня взглянуло ласковое голубое небо. Я скоро подружился с соседними ребятами. Утром, я слышу влетает в приоткрытое окно с улицы:

— Олешка, выходи в шары-бабы играть.

Но мне некогда. Я качаю Петьку, а сестра хлопочет по дому. Однажды я никак не мог укачать Петьку. Задрав вверх ноги, он беспрерывно что-то бормотал:

— А-г-гу… г-г-г-у…

Я уже несколько раз принимался его убаюкивать:

— О-о-оа…

Но Петька не засыпал. Я свирепо раскачиваю зыбку, так, что Петька в ней взлетает, как на качелях. И так же свирепо пою:

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду…
Потерял пастух дуду,
Дуду длинную,
Трехаршинную…

Но песней своей я только перепугал Петьку: он вдруг, как под ножом, заверещал.

— Что ты как его? — строго заметила Фелицата. — Того гляди, он из зыбки вылетит.

И, взяв сына из зыбки, стала кормить его грудью. Я незаметно убежал на улицу.

Но и эти дни оборвались, как бусы. Сестра часто стала приходить от свекрови в слезах.

А осенью, теплым ненастным утром, она увела меня в приют.

# В ПРИЮТЕ

Деревянное одноэтажное здание приюта, окрашенное в коричневый цвет, показалось мне мрачным. Фасадная часть выходила на площадь и смотрела четырьмя окнами в размятую глину. Сбоку, в саду, тоскливо стояли старые липы. Их голые ветви неподвижно поникли и свисали на маленькую веранду, усыпанную опавшими желтыми листьями. На одной из лип висела клетка с раскрытыми на концах западнями. В ней перескакивала по жердочкам зеленая белощекая синица; она протестующе трещала и билась в клетке.

Сестра ввела меня в обширную комнату, заставленную длинными столами в два ряда, а сама куда-то ушла. Меня сразу окружила густая пестрая толпа ребят. Они смотрели на меня с любопытством, как на странную, невиданную вещь. Ребята были одеты одинаково: все в синих тиковых штанах, в красных рубахах и с белыми холщевыми нагрудниками, подвязанными сзади лямками. Некоторым мальчикам одежда не по росту — штаны до колен, а рубахи большие, висят на плечах крупными складками. Девочки — в синих сарафанах и белых холщевых рубашках.

*Из книг издания Александра Леонтьева.*

Меня оглушил гул сотни ребячьих голосов. Я пугливо прижался к стене. В комнату вошла высокая смуглая женщина. Ребята нестройным хором пропели:

— Здравствуйте, Александра Леонтьевна!

Она подошла ко мне, внимательно осмотрела, даже заглянула в рот. Так рассматривают на базаре лошадей, когда покупают. Потом подошла старая, с добродушным, мягким лицом, Агафья и увела меня в маленькую комнату со множеством полок на стене. Здесь она порылась на полках и достала штаны с рубашкой.

— Давай, милый, сам раздевайся. Чей ты?

Я сказал.

— Знаю. Хороший мужик был у тебя отец. И мать я твою хорошо знаю.

Потом она свернула мою домашнюю одежду, сунула её в угол, а меня втолкнула в толпу ребят.

Тщедушный мальчишка дернул меня за плечо и, по-хозяйски осмотрев с ног до головы, спросил:

— Чей ты?

Я сказал.

— А как тебя зовут?

— Алешка.

— Ты новенький. Тебя объезжать надо.

Я не знал, что значит «объезжать». Я думал, что он предлагает играть в лошадки. Но мальчишка неожиданно вскочил мне на спину и, пришпорив босыми ногами, крикнул:

— Ну, ну, кляча водовозная!

Я оказался проворней мальчишки — ловко сбросил с себя наездника.

Тот упал, ударился головой о ножку стола и заревел. Его большой рот скривился, нос расплылся по сухому смуглому лицу, а в углах, за бугорками ноздрей, образовались желтые пятна, точно водянистые нарывы. Я испугался, отскочил и встал, воинственно сжав кулаки. Но нападения не было. Ребята отхлынули от меня и любопытно рассматривали.

«Наездник» громко ревел, утирая глаза кулаками, и направился в соседнюю комнату.

Немного погодя он вошел в сопровождении Александры Леонтьевны и, всхлипывая, указал на меня.

— Ты это что? Первый день — и уже драться? — строго сказала она.

Я молчал. Но курносый румяный мальчик, круглый, как обрубок, деловито подошел к Александре Леонтьевне и, смотря на неё ясными синими глазами, серьезно сообщил:

— Мишка сам наскочил. Он его объезжать стал, как новенькую лошадь.

Я долго не мог уснуть в первую ночь. Мы лежали на войлоках, разостланных прямо на полу. Под головами вздымались узкие мешки, набитые сеном. Сверху было накинуто большое, общее одеяло.

Утром мы побежали в обширную кухню, где стоял умывальник. У печи висело широкое длинное полотенце. Ребята выхватывали полотенце друг у друга, и оно скоро стало таким мокрым, что приходилось вытирать лицо своей рубахой. Потом всех выстроили на молитву.

После молитвы ребята шумно побежали в соседнюю комнату. Там стоял большой ларь с кусками ржаного хлеба. У ларя началась давка: каждому хотелось получить кусок побольше.

В этот первый день я остался без завтрака. Александра Леонтьевна сердито посмотрела на меня и сказала:

— Драться умеешь, а кусок хлеба для себя не сумел взять. Нянек для вас у меня нет.

Она отошла от меня, а я завистливо смотрел, как ребята, разбежавшись по углам, с жадностью ели хлеб.

После завтрака снова началась молитва. Нас усадили за большие парты. С краю сел Киря и скомандовал:

— «Отче наш»!

Чинно вытянувшись и положив руки на парты, мы нараспев читали молитву.

На стуле сидела надзирательница Александра Петровна — древняя прямая старуха — и вязала чулок. Она изредка смотрела на нас неподвижными, как оловянные пуговицы, глазами и качала седой головой, прикрытой атласной наколкой.

— Не дай нам днесь, а даждь нам днесь, — поправляла она потухшим голосом.

В двенадцать часов в столовой зазвякали железные чашки я деревянные ложки.

Наконец раздался окрик:

— На молитву!

Мы пели молитвы, а сами думали о щах и каше. Торопливо закончив, ребята с грохотом встали из-за парт и побежали в столовую.

Маша — красная толстогубая кухарка — разливала по чашкам суп. Чашки двигались, как по конвейеру.

Были и добавочные порции. Но здесь уже конвейер нарушался. Ребята ловко пускали чашки по столу, к миске. Крутясь, как волчки, они скользили по крашеному столу. Иной раз от неловкого движения чашка летела вбок. Тогда суп

выливался на колени, поднимался кряк, шум. Маша выводила за руку виновника и, награждая увесистым: шлепками в спину, ставила в угол.

Обед кончился снова молитвой:

— Благодарим тя, господи, яко насытил еси нас…

А потом мы разошлись по классам и снова сели за парты. Так началась моя жизнь в приюте.

# ФЕРАПОНТ

Каждое утро на приютский двор приезжал возчик Ферапонт, рыжий кривоногий мужик. Он привозил мешки с картошкой, крупой, а иногда ляжку синего мяса.

Однажды Маша, принимал от Ферапонта мясо, заметила:

— Что же это ты, Ферапонтушка, мясо-то как отвозил? Точно ты его не в телеге вез, а по грязи волочил?

— А уж такого, Марьюшка, бог дал. Что дают, то и везу.

Улучив минутку, когда Ферапонт был один, я спросил его:

— А от кого ты… мясо привозишь?

Ферапонт небольно теребнул меня за волосы:

— От Ваньки Куликова я мясо вожу. Знаешь Ваньку — хромого мясника, — с костылем он ходит, ноги у него нету, а на конях верхом гоняет — что тебе надо!

Улыбаясь весноватым лицом, обросшим жесткой рыжей шерстью, Ферапонт добавил:

— Что ты понимаешь? Мал, значит, ты еще, глупый… Понюхать хошь?

Ферапонт достал берестяную табакерку, щелкнул по ней пальцем и, положив на горбатый ноготь кучку зеленоватой пыли, поднес к правой ноздре. Глаза его сладко зажмурились. Он жадно и шумно вдохнул табак. То же он проделал и с левой ноздрей.

Я попятился, а Ферапонт, улыбаясь, спросил:

— Не хочешь? А то на…

— А ты зачем нюхаешь? — спросил я.

— Зачем? Для глаз. Зреньем я слаб.

Я вспомнил дядю Федю. Он очень часто курил, и я его спросил однажды:

— Ты, дядя Федя, почему куришь?

— От кашлю.

— А отчего кашляешь?

— От табаку.

Я заметил, что и Александра Петровна тоже нюхает табак. Раз она отошла в угол и быстро сунула в ноздри по щепотке такого же табаку, как у Ферапонта, и потом аппетитно крякнула, точно выпила стакан ядреного квасу.

Мне думалось, что нюхать — очень вкусно. И вот однажды, увидев во дворе Ферапонта, я подбежал к нему и смело сказал:

— Давай, понюхаем!

Тот удивленно посмотрел на меня.

— Эх ты, богова человечинка! — озорновато улыбаясь, сказал он и залез рукой глубоко в карман штанов. — Ну, на, коли охота.

Он раскрыл табакерку и, всё так же улыбаясь, предупредил:

— Погоди, ты не умеешь. Посмотри, как я…

Ферапонт засучил рукав рубахи и насыпал на руку, выше кисти, полоску табаку. Потом, прищурив один глаз, провел носом по зеленоватой пыли, вдыхая в себя. Глаза его налились слезами, он вытер их кулаком, а потом насыпал табаку на мою руку.

— Ну, валяй!

Я боязливо поднес к носу руку и вдохнул.

В носу у меня защекотало. Я учащенно зачихал, чувствуя, что лицо мое вздулось, а глаза залило слезами. Ферапонта я видел, как сквозь стеклянную пленку. Он сидел на приступке крыльца, широко расставив ноги, и беззвучно хохотал, приговаривая:

— Хорошо? Эх ты, шкет! Привыкай! Под старость — кусок хлеба будет.

После этого я не мог без страха смотреть, как нюхает табак Александра Петровна.

Нередко в приют приходил поп — отец Александр — в люстриновой рясе. И Александра Леонтьевна и Александра Петровна любезно улыбались ему при встрече. Он торопливо крестил их, совал свою руку, подернутую золотистым волосом, они целовали её. Потом, так же улыбаясь, они шли за ним по комнатам.

От попа пахло духами. Гладко причесанные волосы длинными прядями спускались на спину. Рыжеватая борода узкой лопатой лежала на груди и прикрывала цепочку с большим серебряным крестом.

Нас загоняли в просторную комнату. В углу выстраивался хор, входил поп, и мы пели:

— Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего…

Поп широко крестился. Ряса его шелестела, широкие раструбистые рукава шумно болтались.

Раз после молитвы поп сел на стол, а мы разместились кучей на полу. Он погладил бороду и проговорил:

— Ну-с, ребята, побеседуем.

Мы примолкли. Поп долго и пространно объяснял нам, что бог есть дух святой, что он всё знает, что мы думаем, и всё видит, что мы делаем. Я слушал и удивлялся: рассказ попа похож был на волшебные сказки дяди Феди. Только поп рассказывал не про чертей с рогами и хвостами, а про ангелов, бога и дьявола.

Но дьявол попа не такой, как черти дяди Феди. Он злой и борется с богом. А бог мне представлялся необыкновенным человеком с мягкой белой бородой, в широкой белой одежде. Он носится в каком-то пространстве без времени и кричит:

— Да будет свет! — и становится светло. Да будет солнце, луна и звезды! — и в небе загораются огни.

Смотрю на попа. У него большой рот, узенький, клином, лоб и маленькие серые глаза. Рассказывая о боге, он сует бороду в рот, точно хочет обгрызть её, рот его широко раскрыт. В нем видны кривые обломки гнилых зубов.

В другой раз поп принес нам большую картину. На картине человек с бородой, в белой одежде, сидит на горе и что-то рассказывает собравшимся людям. Поп пояснил нам:

— Христос говорит: «Блажени алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

Я вспомнил отца. Раз он пришел в праздник из церкви, от обедни. И пока мать приготовляла чай, он ходил по комнате и пел:

— Блажени алчущие и жаждущие правды, ибо тии насытятся.

И вдруг отец задумался, будто что-то припоминая, остановился у окна и как-то грустно усмехнулся:

— Насытятся?… Нет, не насытятся. Правды-то нету, да и не было её.

Я рассеянно слушаю попа. Почему-то так близко встают в памяти отец, Малышка, который обжегся заварихой и решил за это не молиться богу.

Поп спрятал картину и стал проверять, умеем ли мы молиться.

— Ну-ка, ты, мальчик, подойди сюда, — показал он пальцем на Федьку Колесникова, сидевшего рядом со мной.

Мигая маленькими черными глазами, Колесников стоял, переступая с ноги на ногу, и молчал.

— Ну-ка, прочти мне «Богородицу». Не знаешь? А молиться ты умеешь? Ну-ка, покажи, как ты молишься?…

Федька торопливо замахал рукой, порывисто тряхнул круглой черной головой.

— Вот как! — укоризненно заметил поп. — Да разве так молятся? Ты что — католик или кержак?

Поп встал.

— Креститесь! — приказал он. Сотня рук замелькала перед глазами.

— Ну-ка, крестись! — неожиданно обратился ко мне поп. Я перекрестился.

— Вот как!.. Чей ты?

Я сказал.

— Это Петрушки, что плотинным был? Знаю… Он что — кержак был?

Я молчал. Мне было больно, что поп так обидно отозвался о

моем отце. Его никто не звал так. Его все звали Петр Федорович. И я молчал.

— Ну-ка, прочитай «Отче наш»! — приказал поп.

Я знал эту молитву назубок, но решил, что читать не буду. На меня скверно пахнуло изо рта попа. Я отвернулся и молча стоял за партой, а поп, прищурив маленькие глазки, сердито спросил:

— И молитвы не знаешь? Экий ты басурман!

Он повернул меня, ткнул в спину и толкнул к ребятам.

Урок кончился также молитвой.

Потом приютское начальство, вместе с попом, обедало. В столовой накрыли на длинный стол белую скатерть. Принесли вкусно пахнущие кушанья. На столе появилась черная бутылка. Отец Александр благословил трапезу, потом налил в стакан зеленоватого вина и выпил.

Ребят на это время разогнали. Маленьких отправили на кухню мыть посуду, а ребята постарше сели ткать тесьму.

# ЧЕЧЕТ

Из всех ребят я больше всего подружился с Кирей.

Киря был «здешний» — у него не было родных, и он жил безвыходно в приюте. Единственным развлечением для него были птички.

У Кири была зеленая клетка, в которой сидел розовогрудый чечет. Каждый день Киря приносил его из сада, пересаживал в другую клетку, а старую старательно очищал палочкой.

Вот люблю чечетов, — говорил он, любуясь птичкой, — он только чичикает, а я люблю. За грудь его люблю: как атласная, розовая. И щеглов люблю — тоже аккуратные пичужки. А жуланов не люблю — хоть и красивые, а неуклюжие, толстоносые. Синицу тоже не люблю — дерзкая птица.

А ему ведь, наверное, охота полетать? — сказал я Кире, смотря на чечета, который спокойно сидел в клетке.

Он посмотрел на меня и, подумав, проговорил:

— А по-моему, теперь зима, так ему лучше в клетке. Там он ночует где-нибудь, в холоде, а у меня — в тепле, и он любит меня…

— Смотри!

Киря просунул в клетку руку с пригоршней семян. Чечет сед Кире на палец, взял круглое конопляное семечко, перепорхнул на палочку и ловко вышелушил его тонким клювом.

Унося клетку обратно в сад, Киря сказал:

— Я ведь его выпущу, как будет тепло.

И Киря рассказал мне, как он выпустил раз на волю щегла.

Щегол у меня жил два года. Поймал я его осенью, зиму продержал, а кормил всегда репейным семенем. Щеглы любят репейное семя, А потом весной выпустил его. Сел он вон туда, на липу, и так залился? Запел! Я заревел от радости. Уж шибко он пел хорошо! Обрадовался, видно, что я его выпустил. И я обрадовался, что щегла выпустил на волю. Потом, осенью, снег уж выпад, смотрю, а он прилетел, сел на раму и заглядывает в комнату, просится, чтоб его впустили.

— А может быть, не этот? — усомнился я.

— Нет, он, тот самый, приметный он был: на правой лапке у него на одном пальце коготочка не было, а левая лапка немного кривая. Я вынес садок, насторожил западню, а в середине — у садилки — тоже дверку открыл… Он полетал, полетал и — в клетку… Вынесу его на улицу, открою клетку, он улетит и опять прилетит. Верно, есть-то захочет — и прилетит… Что, не веришь? Правда. Две зимы жил, а потом улетел весной и больше не бывал.

А пел! Ох, важно пел!..

Не нравился мне Мишка Чуднов. Ребята звали его «Сукой». Он всегда держался в стороне, никогда не смотрел прямо, а всегда исподлобья. Возле его тонкого птичьего носа залегли глубокие складки, а острые черные глаза зло поблескивали. Он дрался со всеми ребятами.

Не любил я также Сергея — тонкого, белого, чистенького мальчика, сына Александры Леонтьевны. Он всегда был одет в серую суконную курточку, на его шее белел накрахмаленный воротничок, а на руках — манжеты. Светлорусые пушистые волосы его были подстрижены, как у большого, «под польку». Мне казалось, что и жизнь у этого мальчика такая же светлая, выхоленная, ласково причесанная.

Он всегда старался показать свое превосходство перед ребятами.

Однажды мы рассматривали Кирино имущество в ящике большой парты. Там были всевозможные коробочки, а в них лежали разные вещи: красивые пуговки, иголки, нитки, тряпицы, ножик перочинный. Всё это для меня было интересно.

Показывая в одной из коробочек зеленого блестящего жучка, Киря спросил меня:

— У тебя есть мать?

— Нету.

— А отец?

— Тоже нету.

— И у меня тоже нету… Вот этого жука мне тятя поймал в лесу, когда был еще жив.

Сергей стоял возле нас и насмешливо рассматривал коробочки в парте.

Он покосился на Кирю и проговорил ядовито:

— У тебя и матери-то не было. Тебя тетка родила.

Киря густо покраснел и промолчал. А когда Сергей ушел, важно засунув руки в карманы штанов, Киря проговорил:

— Погоди, чистяк, вот вырасту — первому тебе башку отверну! И, смотря вслед Сергею ненавидящими глазами, добавил:

Я рабочим буду, а рабочие сильнее вас, сдобных голяшек. Я скоро заметил, что между Кирей и Сергеем шла непримиримая вражда. Сергей старался сделать Кире какую-нибудь пакость, а тот иной рая плакал про себя. Его большие карие глаза наливались слезами, он сутулился и молчал.

Однажды Сергей принес с веранды Кирину клетку с чечетом. В ней беспокойно бился любимый чечет. Сергей поставил клетку на пол и приказал Мишке Чуднову:

— Эй, Сука, беги в кухню, неси Ваську!

Мишка стремглав бросился и принес большого рыжего полосатого кота.

— Отпускай! — приказал Сергей.

Мишка отпустил. Я замер в оцепенении. У кота расширились зеленые круглые глаза, морда точно вспухла, на ней торчали длинные, редкие усы.

Чечет, увидев кота, еще беспокойней забился в клетке. Деревянные палочки клетки глухо треснули, чечет запищал, а кот, вытаскивая большую голову из клетки, возбужденно замахал длинным хвостом. В зубах его трепетали крылышки птички. Чечет еще раз глухо пискнул я смолк. Зеленые глаза кота хищно светились. Я заплакал.

В эту минуту вбежал Киря. Он схватил клетку и со всего размаху хотел ударить Сергея по голове. Губы его были плотно сжаты. В глазах стояли слезы Сергей ловким движением вышиб клетку из рук Киря, она удала.

Сергей злобно растоптал её и гордо крикнул: — Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты пичужек не ловил!

— А ты бы лучше выпустил его, чем кошке травить, — дрожащим голосом сказал Киря.

Я подбежал сзади к Сергею, схватил его за ногу и швырнул на пол. Вбежала Александра Леонтьевна. Она злобно поглядела на меня и, молча взяв сына за руку, удалилась.

Мне думалось, что после этой истории и меня и Кирю из приюта выгонят. Но дело обошлось: Кирю послали убирать в уборной, а меня Александра Леонтьевна так дернула за ухо, что я от боли вскрикнул, и поставила в угол на колени.

# ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА

Приютский день кончился. Все укладывались спать вповалку.

Мне не спалось. Я смотрел на щель приотворенной двери, сквозь которую пробивалась полоска света из соседней комнаты.

Я знал, что там занимается Аркашка Аляев — один из старших приютских мальчиков, «здешний». Он учился в школе и, наверно, теперь готовил уроки.

Я тихонько встал и, приоткрыв дверь, заглянул в освещенную комнату.

За столом над книжкой сидел Аляев, положив голову на ладошку.

Я вошел и подсел к столу.

Я думал, что он меня сейчас же выгонит, но Аркашка спокойно посмотрел на меня серыми глазами и спросил:

— Ты захем прихол?

Он говорил тихо, не выговаривая шипящих звуков, точно что-то мешало во рту.

— Так, — ответил я. — Я тебе не помешаю, Аркаша. Ты дай мне какую-нибудь книжку, я посмотрю картинки.

Мой покорный и ласковый тон, должно быть, подкупил Аркашку. Он улыбнулся и спросил:

А ты хитать умеех?

Умею маленько.

Аляев снова улыбнулся, порылся в ворохе книжек в сунул мне толстую, в красивом переплете, книгу.

— Перелистывать будех, пальцы не муслякай. От этого книга портится, — предупредил он.

О замиранием сердца я раскрыл книгу и прочитал про себя: «География». Я не знал, что это значит, но спросить не решился. Алиев углубился в книгу.

Я посмотрел сбоку на его коротко остриженную голову. Аляев старательно что-то вписывал в тетрадь. Его оттопыренная, толстая нижняя губа шевелилась.

Сдерживая дыхание, я стал бережно перелистывать книгу. Я никогда не испытывал такого волнения при виде книжки, как сейчас. Передо мной раскрывались горы, люди, звери, реки.

Аляев же вдруг отодвинул свои тетради в сторону, повернулся ко мне и, перелистывая книжку, стал пояснять:

— Вот видих — это вроде карманных хасов. Это — компас… О ним ходи по лесу — и не заплутаехся.

— Куда хочешь, туда и поведет? — спросил я.

— Аха… Вот ты когда будех ухиться, всё узнаех.

Всё, что мне рассказывал Аляев, было просто, интересно и вызывало удивление и восторг. И Аркашка мне казался самым интересным человеком в приюте. Он заслонил собой образ Кири с его коробочками и клетками. Я ушел в этот вечер от Аляева с особым чувством удовлетворения и долго не мог заснуть.

Всегда серьезный, деловитый, Аляев приходил с кипой книг и тетрадей из школы. Много раз я видел, как он, прячась от приютского шума, залезал с книгой на сеновал или уходил в огород, в баню.

Как-то раз Аляев вышел из бани со свертком бумаги. Сергей насмешливо встретил его:

— Эй, банный ученый!

Аляев возмущенно скороговоркой заговорил:

— Тебе хорохо. Тебе есть где заниматься, а мне негде.

В этот вечер Аляев развернул передо мной большой лист бумаги и, сияя какой-то особенной улыбкой, сказал:

— Смотри-ка, Ленька.

На листе были начерчены кривые лилии, как змеи.

— Это что? — спросил я.

— Карта Европейской России. Я к экзамену её делаю. — И мечтательно добавил: — Конху эту хколу и буду дальхе ухиться.

Всё что делал Аляев, было для меня таинственным, красивым и приводило в радостный трепет. Мой новый друг казался мне очень умным. И у меня нарастала обида, когда я видел, что Сергей относился к Аляеву пренебрежительно, высокомерно.

Я спросил Аляева:

— А Сережка почему зазнается? Он хуже тебя, а зазнается.

Аляев покраснел, опустил глаза и кротко проговорил:

— Ну, хем я лутхе его?

Он не был злопамятным. Однажды я видел, как у черной доски Аляев рассказывал что-то Сергею. Начертил мелом на ней треугольник и долго разъяснял, вписывая непонятные мне значки. Его серые глаза разгорались, щеки розовели.

В другой раз он жарко спорил с Сергеем, рассматривая пеструю географическую карту.

Мне казалось, что Аркаша всё знает, о чем бы его ни спросили. И я радовался, что Сергей был бессилен показать свое превосходство перед Аляевым.

Между нами завязалась крепкая дружба. По вечерам я ходил к нему. Он мне давал тетрадку, и я списывал с книжки буквы, цифры и уже через месяц научился писать. Я чувствовал, как Аляев окружал меня теплой, братской заботой.

Я часто любовался его работой. Он, должно быть, тоже был доволен, особенно, когда раскрасил карту.

— Вот это губернии. Это — Московская, а это вот — наха, Пермская.

— А мы где живем? — спросил я.

— Вот здесь. Видих, синяя змейка. Это — наха река Тагил… А это вот горы.

— А это что? — спросил я, показывая на синие фигуры.

— А это моря, озера.

Я вспомнил, как когда-то смотрел на Тагил с Лысой горы. Был ясный, тихий день. Я видел широкий пруд, как озеро, а река Тагил легла синей лентой, извиваясь среди селения. Загнувшись замысловатым зигзагом возле скалистого выступа горы Красный Камень, она ушла в далекий лес и там затерялась.

Я смотрел на карту в немом восторге.

Аляев точно угадал мою мысль и, улыбаясь, стал пояснять:

— Вот, если подняться высоко, высоко, хтобы всю Россию мохно было видеть, так её будет видно, как на карте.

Он бережно повесил свою карту рядом с фабричной, позвал Кирю и спросил;

— Которая лутхе?

Киря долго рассматривал карту Алиева и показал на неё:

— Вот эта.

Аляев карту заканчивал. Я каждый день подходил к карте, с удивлением и восторгом всматриваясь в голубые жилки на ней.

Однажды я вошел, как всегда, к Аляеву и оцепенел. У стола стоял Сергей и держал над картой пузырек с чернилами. По раскрашенному листу карты текли жирные фиолетовые ручьи чернил. Я вскрикнул. А Сергей, увидев меня, помутнел, подошел ко мне и, схватив за волосы, зловеще спросил:

— Скажешь?

Я молчал. А он, сжимая крепко в руке мои волосы, снова спросил:

— Скажешь?

Мне было очень больно, на глазах выступили обильные слезы. Я стиснул зубы и молчал.

— Кто облил карту? — вдруг переменив тон, спросил Сергей.

— Ты! — крикнул я.

— Я?

— Ты.

— Я?

— Ты.

В эту минуту вошел Аляев.

Сергей продолжал допрашивать меня:

— Кто облил карту?

— Ты! — вскрикнул я и рванулся.

*Сергей зловеще спросил: «Скажешь?»*

Аляев удал на стол, зажав голову руками, и тихо зарыдал. Спина его вздрагивала.

Сергей торопливо побежал из комнаты, громко крикнув мне на ходу;

— Сам тут напакостил да на людей сваливает! Паршивец!

Я тоже заплакал. На шум прибежали Александра Леонтьевна и Киря. Надзирательница побелела. Глаза её широко раскрылись. Она грозно спросила меня:

— Кто облил карту?

— Сергей!

— Сергей?! — заострив брови, переспросила она. — Сергей! — закричал я в чуть не топнул ногой.

— Как?

Аляев с мокрым, печальным лицом посмотрел на меня. Мне было больно. Я не мог подобрать слов, чтобы доказать Аляеву свою правоту. Аляев быстро поднялся, выпрямился и грустно спросил:

— Ты скахи, Ленька, правду. Нихего тебе за это не будет.

Голос его дрожал, а нижняя губа еще больше отвисла.

— Сергей! — крикнул я снова и заплакал.

Александра Леонтьевна посмотрела на облитую карту. Её

сухое лицо сжалось в темный комок, она молча вышла. А Киря успокаивающе проговорил:

— Сережка, — я знаю его, блудню. Не любит он тебя за то, что ты лучше его.

Аляев свернул карту трубкой и направился к выходу. Нетвердо шагая, он уходил сгорбленный, разбитый.

После этой истории я долго не ходил к Аляеву. Сергей в приюте больше не показывался, а я не получил на зиму валенок.

— Пимы выдаем только самым бедным, а у тебя есть брат, и он тебе должен купить, — заявила мне Александра Леонтьевна, не смотря на меня.

Я остался снова в худых, без подметок, сапогах, которые надевать можно было только на голые ноги, и то с большим трудом.

Недели через две Аляев, поймав меня в коридоре, ласково спросил, заглядывая мне в глаза:

— Ты хто, Ленька, ко мне не ходих?

— Боюсь, Ты думаешь — это я карту испортил, — сказал я.

— Знаю я, кто. Серехка это. Ты приходи.

И снова я стал по вечерам ходить к Аляеву.

# РАМОЧКИ

Зима в этом году была особенно лютая. Мы — нездешние — каждую субботу после обеда уходили домой из приюта и возвращались обратно в понедельник утром. Пока я жил неделю в приюте, меня тянуло домой, но когда подходил свободная день, я боялся его.

Одежонка моя была не из тёплых: летнии отцовский пиджак темного цвета с белыми крапинками, рассыпанными подобно мелкому снегу.

Из приюта мы шли гурьбой, весело, и я забывал, что у меня стынут ноги. Придя домой, быстро залезал на печь отогреваться.

— Ну, что пришел?… А там что не остался? — встречала меня Екатерина.

Я знал, что с моим приходом у них прибавлялся лишний рот.

Наступал ранний, зимний вечер. Дом погружался во тьму. Катя сидела в углу, точно её не было в комнате. Она теперь не походила на прежнюю Катю. Она была придавлена голодом и нуждой.

Катя, ты что огонь не зажигаешь? — спрашивал я.

К чему? Без огня лучше. Я сумерничаю.

Она сидела впотьмах и о чем-то думала. Должно быть, легче думается, когда в комнате темно и тихо.

Приходил Ленька. Он работал в столярной завода, и я с завистью смотрел на его темное, подернутое заводской копотью лицо. Он заметно вырос, стал шире в плечах, и мне думалось, что он уже совсем большой.

Он тоже залезал на печь и рассказывал мне о заводе, о своей работе.

Я с тревогой думал, что завтра снова приют. Хотя там кормили досыта, а дома было впроголодь, всё же туда мне возвращаться не хотелось.

По воскресным дням Ленька не ходил на работу и мы ловили птиц, а потом шли на базар продавать их. С базара мы весело возвращались с калачом или с ковригой хлеба.

Как-то раз Екатерина серьезно посмотрела на меня и вздохнула:

— Эх, Олешка, Олешка, как только ты жить будешь? Как ты обносился-то!

Я не знал, как буду жить. Короткие ветхие штаны неопределенного цвета чуть прикрывали мои колени. Серая рубаха тоже была коротка. Я понимал, что вырос из этой одежды, но меня это меньше всего беспокоило.

А Екатерина притягивала мою, давно не стриженную голову к себе па колени и укоризненно приговаривала:

— Эк, ведь накопил!.. Как бобы. Не следят за вамп в приюте-то.

Иной раз я засыпал у неё па коленях, а просыпался, лежа на лавке. Мне хотелось, чтобы сегодняшний день тянулся без конца и чтобы завтрашнее утро не наступало. Но потемки сгущались. Тускло загоралась маленькая керосиновая лампа, а часы на стене торопливо отсчитывали прожитое время. Я считал:

— Семь… восемь…

Павел работал в мастерской. Он делал рамочки для фотографических карточек. Я знал, что он их относил жандармскому полковнику Бергеру.

Мне ясно помнится, как брат пришел от полковника, когда снес ему первые рамочки. Он вошел в комнату торопливо и возбужденно, сбросил с себя на ходу полушубок с шапкой и радостно сказал:

— Катюха, полковник-то сам за рамки цену назначил. Я думал — по полтиннику, а он — семь гривен, а которые побольше — по рублю.

Глаза его блестели. Он хвастливо потряс карманом, где позвякивало серебро.

В этот вечер Павел особенно усердно работал и особенно звучно пел:

На берегу сидит девица, Она шелками шьет платок. Работа чудная на шелке, В шелках цветов недостает.

С этих пор к Павлу часто стали приходить жандармы.

Раз пришел жандарм, высокий, рыжеусый, в синем, с красными шнурками, мундире и с большой медалью на шее. Мне было непонятно, почему этот человек пришел в бараньем полушубке, в пимах и в шапке с ушами, а не в серой длинной шинели, как я видал жандармов на улице. Я спросил его об этом.

Усы жандарма вдруг пошевелились, он настороженно, иокоса посмотрел на меня большими глазами и, улыбнувшись незнакомой мне улыбкой, спросил:

А тебе как надо?

В шинели и с саблей, — сказал я.

Он расхохотался. Потом порылся в своем кармане, достал медный трешник и дал мне.

Они с братом тихо о чем-то беседовали. На столе стояла наполовину выпитая бутылка с водкой и лежал жирный кусок колбасы. Я заметил, что брат пил добросовестно, а жандарм, делая вид, что выпил, незаметно выплескивал водку в стружки за верстак и так же морщился, как и брат. Увидя, что я внимательно

смотрю на него, жандарм сунул мне в руку кружок коябасы и выпроводил из мастерской.

Когда жандарм ушел, Павел весело пел и работал. Когда я рассказал ему, что жандарм выплескивал водку в стружки, Павел недоверчиво посмотрел на меня и спросил:

А не врёшь ты?

Нет.

Он взял горсть белых хрустящих стружек, понюхал и сразу перестал петь.

Вскоре работа над рамочками оборвалась. Январским вьюжным вечером я прибежал из приюта и отогревался у раскаленной железной печки. Пришел с завода Павел, Он показался мне грустным и молчаливым. Увидев меня, он ласково спросил:

— Чего, Олешка, заколел?

Он разделся, торопливо напился чаю, потом принес из мастерской красиво выструганные брусочки для рамочек и принялся с каким-то ожесточением швырять их в огонь печи. Огонь схватывал их желтыми язычками и облизывал. Брусочки потрескивали, точно их кто-то невидимый грыз острыми мелкими зубами.

Екатерина испуганно спросила:

— Что это ты, Паша?

— Я знаю, что делаю! — А сам продолжал швырять по одному бруску в печку. Его сухое лицо было мрачно. Глаза в темных провалах горели, как тлеющие угли.

Мне было слышно его возбужденное дыхание и постукивание брусков в больших жилистых руках.

Бросив последний брусок, он встал и вздохнул, как будто сделал очень трудное дело. Потом я слышал, как он за печкой шопотом говорил Екатерине:

— Ловко как подъехал ко мне! Нет, я не Иуда-предатель Скариотов. Ишь ты, нашли сыщика! С голоду подохну, да не…

Последние слова я не расслышал. Он шумно ходил по комнате, топая босыми ногами. И в тот вечер не работал.

# УТОПЛЕННИК

Утром я проснулся рано. Часы пробили пять, и одновременно заревел далекий заводской гудок.

Ему вторит вьюга. Мне слышно её разноголосое пение в трубе.

Рядом со мной спит Ленька. Ему нужно скоро итти на работу, а мне — в приют.

Я не знаю, как сегодня пойду. На улице, должно быть, очень холодно. Изба выстыла. Даже на печи Ленька кутается в полушубок.

Хочется есть, и вспоминается приютский вареный горох, жидкий, прозрачный, как вода.

Часы пробили полчаса, звякнув в железину один раз.

Я тихонько сползаю с печи. Ощупью нахожу дверь в мастерскую, набираю там стружек, щепок и затапливаю железную печку. В комнате приятно расплывается теплота.

— Вот забота-то! — слышу я из темного угла одобряющий голос Павла.

Ему нравится, что я затопил печку. Он встает и зажигает лампу.

— Я давно не сплю, — говорит он, — неохота вылезать из-под одеяла — холодно.

— Я нарочно затопил, — говорю ему.

— Молодчина!

Они с Ленькой молча одеваются, сонно позевывают и уходят на завод.

Серыми пятнами заглядывает зимнее вьюжное утро в избу через замерзшие окна. Буран за ночь намел косы снега возле окна, так что из-за них не видно ничего на улице.

Смотрю в окно и слышу, как гудит ветер, носится снежной пылью в мутном небе. У меня одна мысль: как я пойду? Но я одеваюсь. Пробую обуть сапоги, обернув ноги тряпкой, но они не лезут.

Екатерина сидит в углу, смотрит на меня и говорит:

— Если не ходить — дома нечего взять. А как ты пойдешь? Ну, скоро Большак приедет. Скоро уж!

Я радостно вспоминаю Большака, как он со мной прощался, когда пошел в солдаты, как поцеловал меня в последний раз, обливаясь слезами.

Я набираюсь храбрости и весело выбегаю на улицу.

На улице пустынно. Ветер с воем несется вдоль улицы, заметая суметами избы. Окна домов щурятся, как глаза,

запорошенные снегом. Где-то взвизгивает калитка и хлопает. Ветер дует мне в спину, подгоняет меня, забирается в каждую прореху одежды и сверлит тело холодом, как сверлом. Подошвы мои жжет.

Я бегу за реку, на ту сторону селения.

Но мост на реке давно сломан, вбиты новые сваи, а на них по перекладинам набросаны доски для пешеходов.

Я всегда боялся здесь ходить, но на этот раз и не подумал о страхе. Бегом пробираюсь по доскам. Они скрипят, крякают, точно жмутся от холода. Сваи торчат, как толстые свечи.

Мне остается перебежать только два пролета. Я уже не чувствую, что ноги мои озябли, даже не чувствую, что они у меня есть. Мне кажется, что вместо ног у меня деревяжки, и мне трудно итти.

Впереди лед на реке разорван и чернеет большая полынья. Она беспокойно вздувается, по ней бегут мелкие волны и зябко прячутся под лед.

Предательский снежный натоп острым гребнем прирос на последней доске; Я чувствую, как ноги мои перестают повиноваться. В глазах рябит, и я качаюсь на доске.

* * *

Я лежу на печке и бесцельно смотрю в потолок, где гуляют тараканы, пошевеливая усами, а за стеной слышится знакомый гул ребячьих голосов.

Алеша подобрал Ферапонта.

Как я очутился в приюте, помню плохо. Припоминаю, что какой-то рыжий мужик сунул меня в черный тулуп, положил на дровни и куда-то повез.

На печь заглянуло добродушное лицо Агафьи.

— Ну, что, сердешный мой, как дела-то? — ласково спросила она.

Мне кажется, что ноги мои отрезаны по щиколотки, на подошвах под кожей что-то беспокойно ползает и колет тысячью острых игл. Агафья ощупала мою голову, влажную, горячую.

— Ферапонтушка тебя подобрал. Он и привез тебя. Сапожншки-то дорогой с тебя сдернул. Снегом оттирали тебя на улице, а ты — как плеточка… Не болит голова-то?

— Нет.

— Ну, слава богу, крепкий. Поись, поди, хошь?

Агафья сунула мне ломоть белого мягкого хлеба. Я давно не ел такого хлеба и с жадностью принялся уничтожать ломоть, а у Агафьи лицо вдруг сморщилось, нижняя губа дрогнула, и глаза налились слезами.

— Жизнь-то как меняется… Думал ли Петро Федорыч, что у него дети так будут?… — всхлипнула Агафья.

Она села на край печки и, утираясь подолом синего фартука,

с дрожью в голосе заговорила:

— Рубль с четвертаком я так и осталась отцу твоему должна. Старший сын тогда у меня номер, а хлеба в дому ни крошки не было. Отец твой тогда дал. Сколько раз я хотела ему всё отдать… Бывало, получу выписку: «На, мол, Петр Федорыч», а он: «Не торопись, Агафьюшка. Тебе, поди, надо — справляйся». Так ведь и не брал, а потом помер.

Агафья смолкла.

Я слышу — и Марья фыркает у котлов, тоже, должно быть, плачет.

Но мне плакать не хочется. Агафья точно прочитала новую страницу из жизни моего отца. Передо мной, как живой, встает он. Вот отец пришел с работы и, стой у порога, ласково, нараспев, говорит:

— А кто-то меня да поцелует?

В кухню шумно вошла Александра Леонтьевна. Агафья торопливо сползла с печки.

— Это еще что? — грозно крикнула на неё Александра Леонтьевна. — Тут дела невпроворот, а она на печи расселась.

— Проведать парнишку залезала.

— Нежности при нашей бедности!

Я не вижу Александру Леонтьевну, но слышу её громкий, металлический голос. Я представляю её, смуглую, сухолицую. Её тонкие губы презрительно подобраны, черные брови заострены, и меж них лежит глубокая складка.

Александра Леонтьевна поднялась на табурет и заглянула на печку.

— Ну, что? Голова не болит?

— Нет, — ответил я.

— Не нужно было ходить.

— Пимишки бы ему надо, — отозвалась Агафья.

— Где ж я возьму? Для всех не наберешься. Дали только бедным.

— А у них богатство? — насмешливо процедила Агафья.

— Ну, это вас меньше всех касается. Прошу в мои дела не вмешиваться, — строго проговорила Александра Леонтьевна и вышла.

— Вас, окаянных, ничем не проймешь, — ворчала Агафья.

— Сыт голодного не разумеет, — отозвалась Марья. — Небось, своих-то всех срядила.

Я слышу — в кухню вошел Фералонт.

— Ну-ка, где у меня утопленник? — проговорил он и заглянул на печь. — Ну, что? Как дела-то?

Помаленьку, — весело говорю я.

Ну, вот, то-то и есть. Не во-время тонуть-то зачал — зимой. Да разве зимой тонут? Холодно, поди. Тут, брат, привычку надо большую.

Я смотрю Ферапонту в рыжее лицо. Глаза его ласково поблескивают и улыбаются.

Он нюхает табачок и, слезая с табуретки, говорит:

— Ну, ладно, валяй, грейся. Да больше не тони.

# БАРИН

Дня через два в приюте неожиданно началась суматоха. Мыли полы, обметали стены, протирали окна. С ребят сняли худые рубахи и штаны, надели новые.

Александра Леонтьевна встала утром рано и следила за ребятами, как они умывались.

— Что в ушах не промыл? А руки у тебя? Что это за руки? Вымой как следует, с мылом! — кричала она.

Я в первый раз заметил на умывальнике кусок мыла. Ребята неумело мыли лицо, фыркали. Одна девочка, вся в мыле, громко плакала, вытирая глаза.

Агафья взяла её и сердито подвела к умывальнику.

— Уж коли не умеешь, так и не берись. Ест глаза-то? Все еще ест?… Да господи, батюшка, скружилась я сегодня с вами.

— Это пошто так? — спросил я Агафью.

— Пошто?… Барин сегодня должен быть.

— Какой?

— Ну, какой? Демидов, который вас кормит.

После молитвы мы, как и обычно, бросились к ларю за хлебом, но нас остановили. Выстроили в ряды и повели в столовую. В это утро нас покормили пшенной кашей с маслом и дали по ломтю белого хлеба.

После завтрака я слышал в кухне, как Агафья ворчала:

— Ишь, как дело-то делается. Всё ничего не было — и вдруг появилось. Значит, всё это полагается.

Маша молча слушала Агафью, переполаскивая чашки. Эта крепкая, крупная, краснолицая женщина, должно быть, не любила разговаривать. Казалось, она всё время сердится.

Агафья не унималась. Выкладывая остаток каши из котла в миску, она говорила, обращаясь к Маше:

— А знаешь, Марья, у меня вот так язык и чешется. Приедет барин — и скажу. Всё расскажу, как у нас Сашенька действует.

В кухню вошла Александра Леонтьевна. Агафья смолкла и испуганно отвернулась.

— Маша, ты сегодня свари мне лапшичку со свининой, — сказала Александра Леонтьевна Маше, — на второе почки зажарь, а на третье — киселек молочный, только сделай с ванилью.

Маша молча выслушала надзирательницу, а та посмотрела на меня (я мыл посуду) и спросила:

— Пимы тебе брат купил?

— Нет.

— Скажи ему, чтобы купил, а если не купит, то скажи, что ты

будешь исключен из приюта, — сказала Александра Леонтьевна н вышла.

— Хоть из ноги выламывай, да пимы подавай, — проворчала Агафья. — Ох, господи, батюшка!

Я, чувствуя, что Агафья на моей стороне, спросил:

— А ты, тетка Агафья, что скажешь про Александру Леонтьевну барину?

Агафья недоверчиво посмотрела на меня и почти сердито проговорила:

— А тебе тут какое дело? Мал ты еще в каждую дырку нос совать. Айда-ка отсюда, отваливай! Где тебя не спрашивают, ты и не сплясывай.

И вытолкала меня из кухни. Я не ожидал от Агафьи этого, но не обиделся. Вообще, я не умел сердиться на добрую Агафью.

Барина ждали к обеду, потом к вечеру, но он не приехал. Прошло два дня. В приюте все успокоилось и пошло по-старому. На нас снова надели худое, старое платье, по утрам снова бегали к ларю за хлебом. А эти два дня вспоминали, как праздник.

Раз Ферапонт меня спросил:

— Ну, что, утопленник, барина видал?

— Нет.

— На кой вы ему сдались, голопупики! Он сюда приезжал на медведя охотиться. Привяжут ему медведя, а он приедет из Петербурга, застрелит и опять уедет. На то он и барин.

И Феранонт рассказал, как барин Демидов убил на охоте глухаря в мешке.

— Лесничим в ту пору Гаврил Максимыч Куляшов был, сродственник нашей Александре Леонтьевне. Она ведь тоже Куляшова — в девках-то… Ну, вот, приехал это барин Демидов поохотиться. Значит, сейчас лесничий нарядил лесообъездчиков. Глухарей искать. Нашли и даже одного убили. Ну, чтобы, дескать, у барина было без осечки, взяли да в мешок этого глухаря сунули и мужика наняли, вином его подпоили. «Ты, — говорят, — залезай на сосну. Как барин придет, вы стрелит, ты из мешка-то глухаря достань и брось его». Все приготовили честь по чести. «Пожалте, ваше сиятельство, глухари вот тут токуют».

Поехали. А ехать его сиятельство никак не хотел, как только на тройке и с ширкунцами.[1]Приехали. Вечер-то пировали, а перед утром пошли на ток. Ведет лесничий барина, а у самого поджилки трясутся.

А мужику-то они наказали: «Как услышишь, что мы подходим, ты языком пощелкивай да скрилыкай».

А мужик на сосне хорошо устроился, сидит. Сороковки две винишка взял, чтобы не скучно было. Выпил, должно. Ждал, ждал

барина, да и уснул. Ночь-то темнеющая была, такал распарная. Подходят это, слушают. А вместо глухаря-то кто-то так залихватски всхрапывает! Его сиятельство не слыхал никогда, как токуют глухари, и спрашивает: «Это, что ли?» — «Это, — говорят, — ваше сиятельство, это».

Прицелился он в куфту,[2]что на соседней сосне была. И трарахнул! Да еще вдругорядь… Мужик-то проснулся, перепугался. Сметал, что князь в глухаря выпалил. Схватил мешок с глухарем — и шасть его на землю…

— Ну, а что дальше-то было? — спросил я.

Ну, что дальше? Понятно, что. Подошел барин к мешку, взял, вытащил глухаря и говорит: «Сроду не видал, чтобы глухари в мешках летали».

— А мужик?

— Мужик? А ему что! Он слез и ушел, а потом его с работы прогнали.

— А лесничий?

— Ну, лесничий что? Нагоняй объездчикам задал — и всё.

Кончилась неделя. В субботу я ушел домой и больше в приют не возвращался.

# БОЛЬШАК

Был конец января. Вьюги утихли. Вместо них пришли легкие морозцы. Деревья стояли, украшенные парчевыми кружевами инея.

Павел купил мне серые валенки, а Екатерина из старья сшила шубенку.

Я весело побежал на улицу. Меня увидел дядя Федя. Он, улыбаясь, взглянул:

— Ну, что, Олешка, разбогател? Шубным лоскутом обзавелся? Молодец! Что не ходишь сказки слушать?…

И вот раз вечером к нам в дом пришел солдат в серой шинели, в больших широконосых худых сапогах. Пришел и спросил:

— Дома хозяева-то?

Екатерина выглянула и недоверчиво спросила:

— Вам кого?

— Да хозяина бы.

Павел беспокойно поднялся и вышел. И вдруг он бросился солдату на грудь, облапил и тихо всхлипнул:

— Сашук… милый… мой!..

Я догадался, что это пришел Большак.

Он разделся, и мы любопытно рассматривали его — черный короткий мундир с красными суконными погонами. На рукавах и на воротнике мундира блестели позументы. Он ласково взял меня на руки, прижал к себе и поцеловал.

Осматривая мои худые штанишки и рубашонку, он молча прослезился.

В этот вечер мы долго не спали. Лежа с Ленькой на постели, разговаривали про Большака. Я думал, что брат вернется с красной нашивкой во всю грудь и с саблей, как у дяди Васи.

В соседней комнате слышались голоса Павла и Александра и хохот Екатерины.

Пришли сестра и зять. Александр радостно воскликнул:

— Ну, теперь все в сборе!

Сестра мне с Ленькой сунула по кренделю.

Вечер был веселый. Дружелюбно, чинно разговаривали, а под конец стали говорить все вместе.

— Нет, ты подумай, Большак, — рассказывал Павел, — что мы пережили! Что мы испытали!..

Зять тенором затянул песню:

Снежки белые,
Белые, пушистые,
Покрывали все поля.
Одно поле, поле непокрытое -
Горе лютое мое.

Потом он как-то забавно скрипнул языком, как сорока, и вскрикнул:

— Шельма! Ешь боле, говори мене, яко с нами бог!.. Саша, Саша, а мы Олешутку в приют отдали.

Потом Павел и Александр пели вместе:

Быстры, как волны,
Дни нашей жизни…

Я вспомнил отца: как он плакал, когда Малышка и Большак пели эту песню.

Должно быть, у братьев тоже всплыло в памяти старое.

Голос у Павла дрожит, кажется, что он плачет. Баритон Большака, точно бархатом, покрывает сочный тенор Малышки.

Уже поздно ночью я сквозь сон слышал, как прощался у дверей зять, изрядно подгулявший:

— Саша! Милый мой! Никто, как бог… Ешь боле, говори мене, яко с нами бог!

— Нет, я работать не пойду, — говорил Александр. — Я — служить. Я всё время в полку писарем был.

* * *

Александр искал работу недели три. Приходя домой, он говорил мне:

— Ну, погоди, вот я устроюсь куда-нибудь, возьму тебя к себе, -

И, смотря на меня, со вздохом добавлял: — До чего довели!.. Голопупиком сделали.

Он говорил о брате уже без прежней ласки, а с плохо скрываемой враждой.

Как-то Александр, разбирая какие-то вещи в амбаре, громко и сердито закричал Павлу:

— Отец наш — всё в дом, а ты — из дома вон! Где вьюшки?

Я вспомнил, как Павел, доведенный до отчаяния голодом, нагрузил на тачку несколько чугунных печных старых вьюшек и увез их на базар.

— Два года двоих кормил, — кричал Павел, — а получал-то сорок копеек!

Александр сердито хлопнул дверью амбара, звонко щелкнул замком и пошел.

За ним бросился Павел.

— Куда ключ понес? Куда?… Ты еще здесь не хозяин!

— А ты?

— Одинаковые хозяева… Повесь ключ, где он висел!

— Нет, не повешу.

— Нет, повесишь! — крикнул Павел и выхватил большой железный ключ из рук Большака.

— А, так ты вот как!.. — Александр бросился на Павла.

У Павла на спине лопнула рубаха и обнажилось тело.

Выбежала Екатерина. Она смело бросилась между ними.

Александр был сильней Павла. Он прижал его к поленнице и безжалостно принялся хлестать по лицу. У Павла показалась кровь из носа.

Я в ужасе смотрел на драку. Александр мне показался чужим человеком, озлобленным, жестоким.

Я подскочил сзади к Александру, дернул его за ногу. Но сейчас же отлетел к сенцам, ударившись затылком о стенку. Мне было жаль Павла. Я с остервенением бросился к Александру и вцепился зубами ему в руку. Он вскрикнул от боли, выпустил Павла и, схватив меня за шиворот, потащил в комнату. Я чувствовал, как ворот давит мне горло и глаза хотят выскочить из орбит. Но следующий удар Павла освободил меня. Я убежал из дому к соседям.

Вечером пришел дядя Паша, высокий, плечистый мужик, брат дяди Феди. Он грозно надвинулся на Александра и, ударяя себя в грудь, закричал:

— Я — опекун! Понимаешь ты меня? Буйство разводить не дозволю. Я могу тебя в двадцать четыре часа из дома. Понимаешь ты меня? Вы пока не хозяева, а вот хозяева — ребята! Понимаешь ты меня?

Дядя Паша указал толстым пальцем на меня.

Александр стоял, прислонясь к стене, и злобно смотрел на опекуна. Нижняя губа его вздрагивала, точно кто-то невидимый её подергивал.

Он молча выслушал дядю Пашу и присмирел.

А дядя Паша, поводя большими черными глазами, продолжал:

— Каково?! Приехал из солдат, так думаешь, тебя врежем в божницу, да и молиться на тебя станем? Понимаешь ты меня?… Ежеля хотите жить мирно, живите, не то я квартирантов пущу. Вот!

Дядя Паша вышел. С этого дня Павел снова спустился жить вниз. С ним ушел и Ленька.

А я остался наверху, с Александром.

Александр каждое утро уходил на службу. На нём появился новенький пиджак, брюки и жилет. Из отцовского тулупа он сшил себе пальто с меховым воротником. Возвращаясь со службы, он приносил хлеба, колбасы и водки, а к ночи куда-то исчезал.

Раз его не было два дня. В комнате было холодно, сыро, не топлено — не было дров. Я лежал на кровати под кучей отсыревшей одежды и хотел есть. Внизу просить не смел, да и знал, что там тоже нет лишку.

*В комнате было холодно и сыро*

Под кучей тряпья мне было тепло. Я высовывал голову и дышал. Изо рта шел пар. Я слушал, как внизу Екатерина постукивает ухватами. Значит, она топит печку, что-то стряпает.

Весь день я пролежал в тряпье. Вечером огня не зажигал.

Тихая, томительная ночь. Чувствовалось, что на улице крепчает мороз.

Я выглядываю из своего логова. Окна посеребрила луна. В комнате — холодный, безжизненный сумрак. На стеклах блестят причудливые цветы и листья; они — как отлитые из серебра.

Где-то во дворе потявкивает Барбоска, мой любимый пес. Его недавно привел Павел. Серый, как волк, остроухий, с ласковыми глазами. Он, наверное, тоже зябнет. Я засыпаю тяжелым, некрепким сном. Наутро стекла зимних рам сплошь закидало льдом. В комнате полумрак, и кажется, что низко над полом тонкой, прозрачной пеленой стелется туман. Я выскочил, натянул холодные валенки и побежал во двор. Екатерина, закутанная в шерстяную шаль, брала короткие дрова. Увидев меня, она сердито закричала:

— Ты что? Вверху-то сдох, что ли? Что тебя не видно?

Она взяла меня за рукав и повела вниз. Там жарко топилась железная печка. Екатерина дала мне пирог со свеклой.

Пришел Павел. Я напился чаю и залез на печь. Екатерина убирала посуду, бумагой сметала со стола крошки.

— Не вытирай бумагой-то, а то опять шум будет, — сказал полушутя Павел.

Я деловито заметил с печки:

— Шум? Главное дело, не из-за чего шуму быть.

Павел захохотал:

— Эх, ты, «главное дело», тоже туда же! — проговорил он и усмехнулся. — Хм… «Главное дело»!

И долго потом меня звали «Главное дело».

Александр пришел уже на другой день, после обеда. Тихий морозный вечер уже прикрыл землю. В комнате было еще холодней, чем вчера. Я слышал, как отворилась дверь и кто-то вошел. Александр черной тенью ходил, побрякивая коробкой спичек. Вспыхнул огонек и осветил его лицо слабым желтоватым светом. Он долго искал лампу. Шаги его были нетверды. Он наткнулся на стол. Со стола что-то упало. Александр полушепотом выругался и, засветив лампу, сел к столу, громко, отрывисто, тяжело дыша. Пальто его было распахнуто. Из-под него торчали лацканы пиджака. Черная мерлушковая шапка сбита на затылок. Он поставил на стол недопитую бутылку и выкинул из кармана сверток в бумаге. Потом подошел ко мне, приоткрыл одеяла и зловещим, пьяным голосом спросил: — Лежишь? О чем ты думаешь?

Я молчал.

— У тебя что, отсох язык-то?

— Нет, — сказал я.

— Ну, а почему не отвечаешь? Жрать, поди, хочешь? А почему в избе холодно?

— Дров нету, Паша не дает.

— Не дает?… Ну, ладно…

Он вышел. Слышно было, как во дворе он ломал какие-то доски и что-то рубил.

— Строиться начинаешь?… — донесся крик Павла.

Внизу хлопнула дверь. Александр пришел с ношей дров, бросил их на пол и затопил железную печку.

В комнате повисла горькая испарина. У меня начало стучать в висках, а в ушах зашумело, точно в кипящем самоваре. Волосы на голове стали сырые, будто я только что выкупался.

— Иди, Алеша, лопай, если хошь! — закричал Александр.

На столе соблазнительно лежали большой калач и кусок колбасы.

Александр допил водку и, не раздеваясь, свалился на кровать.

Солнце забиралось выше и выше. Весело закудрявились сады. Я любил по утрам сидеть на тропе, что идет вдоль огорода. Из густой мягкой травы выглядывают золотые одуванчики. На задах огорода, в скворечнице, поют скворцы. Я слушаю этих хлопотливых птиц. Всё прошлое точно потонуло в холодном тумане продолжительной голодной зимы.

# ОКРОВАВЛЕННОЕ УХО

Я снова в шумной толпе ребят, только не в приюте, а в школе, и наблюдаю за новой жизнью. Я испытываю восторг и непонятный страх.

Стою в углу огромной, с низким потолком, комнаты.

В пестрой куче ребят — старый учитель, Глеб Яковлевич. Он в синем длинном сюртуке со светлыми пуговицами и в жилете. Правая нога его короче левой. Она согнута в колене и окостенела, отчего Глеб Яковлевич сильно припадает на неё, точно на каждом шагу кланяется. И тело его согнуто от постоянной неудобной ходьбы, оно как будто тоже закостенело. У него большой горбатый красный нос на небритом, с острым подбородком, лице, обросшем густой белой щетиной. На большой круглой голове — лысина, старательно прикрытая длинными прядями волос.

Мой отец тоже учился у него. Глеб Яковлевич ходит, ковыляя, по залу, он что-то строго говорит ребятам.

— Ах, ты, пузырь ты этакий! — глухо поварчивает он.

Хотя Глеб Яковлевич и теребил нас за волосы и давал подзатыльники, но мы его не боялись.

Боялись другого учителя — Луценко. Высокий, прямой, с длинными темнорусыми волосами, зачесанными назад, как у дьякона, он вырастал среди нас грозной, страшной фигурой, и в зале в это время наступала тишина. Он хватал ребят за уши и вел в угол. Ребята кричали от боли, стоя на коленях. Луценко драл за уши молча. Его большие темные глаза округлялись, делались влажными, а губы крепко сжимались. Мне тоже раз досталось от Луценко.

В углу, на окне, мы устроились играть в перышки. Накануне я выиграл горсть перьев у Кольки Петрова, по прозвищу «В кармане каша». Его так звали потому, что он умудрялся в школу приносить в кармане комок холодной пшенной каши. Это прозвище к нему быстро и крепко пристало. Вялый, робкий и обиженный умом, он действительно был похож на кашу. Он охотно отзывался, когда ему кричали:

— Эй, Колька, «В кармане каша»!

Охваченные азартом игры, мы подковыривали на гладком подоконнике перышки. Они ложились вверх или вниз: «сака» или «бока».

Выдал нас тот же «В кармане каша». Он проиграл свои перья и нажаловался Луценко. Мы не заметили, как Луценко подошел к нам и через кучку ребят заглянул на окно. У меня было особенно «саклистое» перышко, и я забирал перья у ребят.

Вдруг я почувствовал боль в правом ухе и невольно вскрикнул. В глазах у меня потемнело. Искаженное лицо учителя наклонялось надо мной. Я не помню, как очутился в углу, на коленях. Перья мои рассыпались.

Через несколько дней Луценко чуть не оторвал ухо Кольке Шелудякову. Схватил его за уши и поднял. Колька, бледный, вытянулся, как солдат, руки сделал по швам и молча повис в руках Луценко. А когда он его отпустил, Колька схватил табуретку и швырнул в Луценко. Потом, зажав рукой окровавленное ухо, убежал из школы.

Больше Шелудяков в школе не появлялся. Я видел его потом на дороге к заводу. Он шел чумазый, в засаленной рубахе.

# ВМЕСТО МАТЕРИ

В эту зиму в доме произошла перемена. Александр женился и ушел на другую квартиру. Я тоже ушел с ним.

После свадьбы Александр позвал меня и заявил:

— Вот она будет тебе вместо матери. Слушайся…

Возле Александра стояла незнакомая высокая женщина — его жена.

Я внимательно рассматривал новую мать. У неё тонкое лицо с длинным, острым носом. Волосы темные, пушистые. Каждое утро она садится к маленькому зеркалу, берет мягкий пушок с белой костяной ручкой, опускает его в круглую красивую коробку с пудрой и быстро гладит лицо. Потом трет пальцем свои впалые щеки и подводит брови.

Окончив туалет, она тонким голосом начинает напевать:

Голубые глазки,
Вы огнем горите…

Мне думалось, что, если бы ей надуть щеки и вставить вместо глаз стекляшки, она походила бы на дешевенькую куклу, Одевалась она в тонкое розовое или голубое платье. И когда приходил Александр, она спрашивала:

— Шурик, идет мне это платье?

— Ну, конечно, Марусенька.

Он брал её под руку, притягивал к себе и целовал.

Обедали мы из отдельных тарелок — не так, как у Павла, где хлебали из общей чашки. И тут Маруся мне казалась тоже необычной. Локти её всегда были приподняты, и руки в кистях выгнуты, точно она собиралась куда-то улететь. Хлеб кусала помаленьку, кусочки мяса крошила мелко и ела неторопливо.

Я сидел, как на угольях, боясь нарушить установленный порядок обеда.

Я уже получил несколько замечаний от новой снохи.

— Что ты чавкаешь, как свинья?

Или:

— Как ты не захлебнешься — так быстро ешь?

Её мать, Ксения Ивановна, остроносая хлопотливая старушка, была на моей стороне. Она, улыбаясь мне, говорила:

— Кто быстро ест, тот быстро и работает. Ешь, как умеешь.

И подливала мне в тарелку супу.

— Вы, мамаша, балуете его, — замечал Александр.

А кто же его баловать будет? Он ведь еще несмышленый. Речь

Ксении Ивановны меня обогревала, и я бодрее чувствовал себя в новой обстановке. Привозил ей на санках воды. Помогал убирать на кухне. Зато когда утром я уходил в школу, то в сумке с книжками обнаруживал завернутый в бумагу кусок пирога или лепешки.

Я полюбил Ксению Ивановну, и мне хотелось называть её «мамой».

Я тосковал и всегда завидовал, когда кто-нибудь, обращаясь к своей родной матери, звал её просто и привычно — «мама». Я чувствовал в этом слове неиссякаемую теплоту ласки.

И вот раз вечером я боязливо сел поближе к ней и сказал:

— Ксения Ивановна, я буду вас звать мамой!

Она удивленно усмехнулась и сказала:

— Что я тебе за «мама»? Зови, как зовешь.

Она не поняла меня, а я разозлился на себя, что не сумел сказать того, что хотел.

Вечером я молча залез на печку и разревелся. Ксения Ивановна подошла и заботливо спросила:

— О чем ты, Олешенька?

Я не ответил.

— Это о чем он? — спросил Александр.

— Не знаю. Сидел и вдруг заплакал, — ответила Ксения Ивановна.

— Ты чего? — грубо тряхнув меня за плечо, спросил Александр. Я молчал. Слезы еще больше душили меня.

Брат отошел от меня и сердито сказал:

— Мамаша, плюньте! Ишь, нежности телячьи… У меня вот пореви!..

— Я возьму ремень да ожгу раз-два.

Я так и не сказал, о чем плакал в эту ночь.

Моя новая сноха, Мария Кирилловна, отнеслась к этой истории тоже равнодушно, будто прошла мимо неё, не замечая.

Я видел, что она больше всего интересуется собой. Часто подходит к зеркалу и подолгу прихорашивается перед ним, оправляя свой костюм, причем её ресницы в это время вздрагивают, а иногда она прищуривает один глаз, точно проверяет, хорошо ли надето платье. Руки её в это время приподнимаются, особенно, когда она расправляет, оттопырив далеко тонкий мизинец, складки своей кофты.

# ЦВЕТКОВ

К нам приходили незнакомые мне люди — новая родня Александра. Чаще всего приходил Цветков. Прямой, бодрый, среднего роста старик, всегда в длинном сюртуке, наглухо застегнутом. На шее, под седой длинной негустой бородой, белела мягкая сорочка. На тонком носу крепко сидело пенснэ.

Входя в комнату, он бойко стаскивал с плеч ветхое пальто и на ходу говорил с мягким украинским произношением:

— Здорово живете!

Увидев меня в первый раз, он спросил:

— Ты чей, малец? И как тебя зовут?

— Алексей.

— Алешка? Добре, сынку. Учишься?

— Учусь.

— В котором классе?

— В первом.

Он достал из кармана отшлифованную временем медную табакерку, сунул в ноздри табак и, утираясь большим красным платком, принялся меня экзаменовать.

— А ну-ка, скажи, братка, пятью пять?

— Двадцать пять, — смело ответил я.

— А шестью семь?

— Сорок два.

— Молодец! Ты приходи к нам. У меня есть сынишка, такой же востроглазый… Голубей любишь?

— Нет.

— Дурак! Плохой человек, если голубей не любишь.

Меня не обидели его слова. Цветков мне понравился. Особенно мне нравилась мягкая звучность его речи. Я внимательно рассматривал Цветаева, когда он пришел первый раз. После чая он рассказывал:

— Мы с Гришкой Богдановым подряд взяли. На Лебяжке земляные работы. Я говорю Гришке: «Моя голова, твои деньги — и дело будет».

Говоря, он прохаживался по комнате, забирая в горсть длинные седые пряди бороды и расчесывая их пальцами. Торопливо нюхал табак, шмыгая тонким горбатым носом. Его жена, старшая сестра нашей Маруси, тихая смуглая женщина, обращалась с ним осторожно и почтительно. Мне казалось, что я попал в круг других людей, и жадно впитывал всё в себя, как губка воду.

Дом Цветкова стоял на той улице, где жила моя сестра. Я,

наконец, дождался случая и пошел к Цветковым с Ксенией Ивановной.

Широкий двор был окружен с одной стороны маленьким садиком, с другой — жилыми постройками. Деревянные небольшие строения были разбросаны в беспорядке. В задах стоял небольшой дом с чердаком, на котором высилась голубятня, обнесенная вокруг террасой.

В углу палисадника ходила пара красивых цесарок. В небольшом ящике с грязной водой полоскались утки. В разных концах двора горланили петухи. По двору важно разгуливали голуби. Но всего более меня заинтересовал нарядный павлин, его широкий, богатый хвост. Возле него покорно ходила пава с пестрой коронкой на голове. Меня поразило обилие птиц.

Вдруг откуда-то появился сам Цветков в красной турецкой феске с черной кистью, в розовых тиковых штанах и в красной без пояса рубахе с расстегнутым воротом. На одной ноге был опорок от порыжевшего сапога, а на другой — высокая резиновая калоша.

Сунув в нос табаку, обычной горделивой походкой он зашагал к садику, напевая:

— Трум-тум-тум-бум-бум…

Увидев меня, он улыбнулся и пошел навстречу. Я почтительно с ним поздоровался.

— Здоров? Пришел посмотреть? Пойдем — голубей покажу.

Мы взлезли на голубятню. Он показал мне маленьких египетских голубей, их было очень много. Показывая их, он пояснял:

— Вот, смотри, это — турман… А это — ленточный, дорогой голубь, а это — байтовый, — он показал на белого голубя с красным пятном на груди.

Голуби окружили хозяина. Белоснежный голубь сел ему на руку. Мы вышли на террасу. Цветков с гордостью сказал:

— У меня, братко, ни одного крышедава нет. Не понимаешь? Крышедав — это лентяй, который любит на крыше сидеть. Вот, посмотри!

Цветков взял палку с привязанной к ней большой тряпкой и махнул. Голуби, хлопая крыльями, поднялись вверх.

— Смотри, как они поднимаются под облака.

Голуби, мелькая золотистыми крыльями, поднимались выше и выше в чистое, голубое небо. Я залюбовался. Но Цветков вдруг беспокойно забегал по террасе и закричал:

— У!.. У!..

— Вы что это, Иван Михайлыч? — спросил я.

— Видишь — ястреб! У!.. У!..

Стайка голубей белыми камнями сыпнула вниз. За одним голубем стремглав бросился ястреб. Цветков торопливо сбежал с лестницы на крышу. Но вдруг произошло страшное и неожиданное. Я онемел: в азарте Цветков не заметил края крыши, оступился и полетел в снежный огород. Я думал, что Цветков разбился насмерть, но услышал из огорода тот же крик:

— У!.. У!..

Я сбежал вниз и заглянул в огород. Цветков размахивал руками; прихрамывая на одну ногу, он бежал по борозде, между гряд, и кричал:

— У!.. У!..

В правой руке его огнем горел красный платок. Голубь исчез, а ястреб, расправив острые крылья, скрылся в голубизне неба.

# БУНТ

Зимой произошло событие, оставшееся навсегда у меня в памяти. Однажды вечером Александр пришел со службы возбужденный, чем-то напуганный. Торопливо стаскивая с себя пальто, спросил:

— Слыхали, что у нас стряслось? — И, не дождавшись ответа, сообщил: — Бунт!

— Что ты говоришь?! — испуганно воскликнула Ксения Ивановна. — Где, кто взбунтовался?

— Третья и четвертая части взбунтовались. Медный и железный рудники почти не работают. А вчера вечером на сельском сходе в волостном правлении до полусмерти избили земского начальника. Дело-то из-за податей вышло. Помимо всех обложений, земский обложил еще с имущества… Ну, все, значит, на дыбы. Как так?… С имущества — так с имущества, а другие подати оставить… Выборных послали хлопотать. А выборных-то арестовали и посадили. Общественники сход сделали. Земский приехал с жандармским ротмистром… Народ их вызывает к себе на сход, а они требуют всех поодиночке к себе в кабинет. Ну, народ, упёрся. «Что, — говорят, — выборных посадили, и нас тоже хотят…» Потом земский с ротмистром явились… Скандал!.. Ротмистр возьми да шашку обнажи… Шашку у него выхватили, изломали… Ротмистр скрылся, а земского принялись бить… Замертво, говорят, земского-то увезли в больницу.

Ой, господи!..

А народ, значит, отправился в земский дом — своих выборных освобождать. Выборных там не нашли… Полк солдат, говорят, едет из Перми, и губернатор сам с ними едет.

На другой день после обеда, я только что сел за уроки, в комнату торопливо вошла Ксения Ивановна, и испуганным голосом сообщила:

— Бунтовщики пришли… Требуют пристава, а его нет… И стражники все разбежались…

Я выбежал на улицу. Огромная серая толпа плотно окружила деревянный большой дом. Ворота двора и парадное крыльцо с вывеской «Пристав второго стана» были плотно закрыты.

Я взбежал на пригорок, откуда мне всё было видно и слышно.

Толпа гудела. Кто-то кричал:

— Где пристав? Подавайте нам его! Пусть выйдет! Спрятался?… Никуда не денется! Ломай ворота!

Толпа волновалась. По воротам били чем-то тяжелым, ворота качались. Ломались доски, скрежетали гвозди.

Наконец ворота с шумом распахнулись, и волна людей густым потоком влилась во двор. Во дворе глухо лаяла цепная собака. На улице, возле стены дома, над морем голов поднялась жердь и ударила концом по вывеске. Вывеска треснула, закачалась и, сорвавшись, слетела на землю. Зазвенели стекла окон. Жердь поднималась и, опускаясь, била по рамам окон. Ломались рамы, со звоном сыпались осколки стекол.

Шумно распахнулась дверь парадного крыльца. Из неё выскочил полицейский. Его серое лицо было искажено страхом. Он что-то кричал и, взметнув руками, исчез в толпе.

Толпа гудела. Кричали охрипшие голоса:

— Бей его!

— Зажечь надо проклятое гнездо!

*Толпа гудела.*

Но одинокий голос потонул в непрерывном гуле толпы.

Из окон полетели книги, листки бумаги. Они вылетали, как стая белых птиц, ветер поднимал бумагу, кружил, унося высоко к небу. Листки, как оторванные змейки, колыхаясь, улетали, падали на крыши домов, на дорогу, на головы людей.

Недалеко от меня собралась большая толпа любопытных зрителей.

До моего слуха доносились отрывистые замечания:

— Во, орудуют!

— А ведь напрасно. Им же хуже будет. Переловят всех…

— Кто?

— Полиция.

— Где она, полиция-то? Её и след простыл.

Рослый чернобородый мужик деловито рассказывал группе женщин:

— Они своих арестованных выборных ищут. А их, должно быть, сегодня ночью увезли в Екатеринбург…

— Полетели дела! — кричали возле меня, когда кипы бумаг вышвыривались из окон.

— А у тебя чего, Мишка, тоже руки чешутся?

— У-у, чешутся! — крикнул черный, смуглый парень и бросился в толпу.

Ему крикнули вслед:

— Не лезь, без тебя там хорошо дело идет!

Но Мишка быстро затерялся в толпе. А потом я видел, как он поднял над головой выброшенный из окна тусклый самовар, со всего размаху бросил его на землю и принялся топтать серыми валенками.

— Вот так его! — смеясь, проговорил рыжий мужик. — Дурак, право, дурак… Тьфу!.. Пристава бы так, тогда другой бы разговор.

Кто-то захохотал. Где-то слышался рыдающий женский голос:

— Ой, беда!.. Куда я теперь с семьей-то денусь?…

— Не вой, тетка, всё по-хорошему обойдется.

Из переулка вылетели трое конных полицейских. Они во весь опор врезались в толпу. Размахивая направо и налево плетками, кричали:

— Разойдись!

Лошади мяли под себя людей.

— Куда они с такой силой? — крикнул кто-то возле меня.

Я в ужасе прижался к стене. Над головами воющей толпы поднялось несколько жердей, мелькнула железная лопата и упала на голову полицейского. Он, как куль, свалился с лошади. Двое полицейских умчались в переулок.

А мимо нас проскакала лошадь третьего полицейского, волоча своего седока по земле. Лицо его было залито кровью.

— Получил, фараон! — крикнул кто-то.

— Собаке — собачья смерть!

В это время над толпой поднялся человек в красной рубахе, без шапки. Он плыл над головами серой толпы, размахивая руками, и кричал:

— Товарищи!.. Господа общественники! Не надо громить!

Из ворот выносили на руках людей.

— Вот они, выборные-то!.. Значит, они здесь были посажены! — крикнул кто-то возле меня.

Но в это время толпа разом отхлынула от дома и торопливо потекла в переулок.

— Должно, солдаты.

— Пристав-то, говорят, солдат уехал встречать на вокзал.

— Ну, значит, теперь будет потеха.

— Алешка, айда солдат смотреть! — крикнул мне Попка Думнов.

Мы побежали, обгоняя людей, к вокзалу, деловито, как на пожар.

На углу стоял толстый человек в енотовой шубе. Он махал тростью и кричал, провожая злобным взглядом людей:

— Идите, идите, хамы! Там свинцовыми орехами вас угостят.

У чугунного памятника стоял большебородый мужик в собачьей куртке и, размахивая руками, как медвежьими лапами, кричал:

— Даром вам это не пройдет! Бунтовать против царя!.. Вам не дозволят!..

От вокзала торопливо шли люди. Их спрашивали:

— Ну, что там?

— Идут солдаты…

— Много?

— Полка два…

— Степа, пойдем, я боюсь! — держа за рукав мужа, кричала молодая женщина, а он, надвинув шапку с ушами до самых глаз, упрямо шел вперед и сердито говорил:

— Ты иди домой, а я не пойду.

Я смотрел с горы в глубь прямой широкой улицы. Почти до самого вокзала кипели пестрые потоки людей. Вдали двигалась неясная, серая стена людей, над которой жесткой щетиной покачивались штыки. До моего слуха донеслись звуки барабана:

— Трум-ту-ру-рум, трум-ту-ру-рум, тум-тум-тум…

Эти звуки пробуждали предчувствие чего-то страшного, тревожного, несущего тяжесть смерти. Они приближались все ближе и ближе, вылетая из самой гущи серой солдатской массы. Люди молча стояли и смотрели туда же, куда смотрел я. Барабан точно сковывал своей стукотней их уста. Губы у людей плотно сжимались, а в глазах светились страх и ненависть.

Меня кто-то схватил за плечо и, втолкнув в толпу, сердито проговорил:

— А это стадо так везде и шмыгает. Марш отсюда!

Я оглянулся. На меня смотрело добродушное, но строгое лицо дяди Феди. Я вырвался из его рук и протискался вперед.

Посредине улицы, впереди стройно идущих солдат, ехали конные полицейские, Они грозно кричали, помахивая нагайками:

— Раздайся!.. Расходись!.. Дай дорогу!.. Сейчас огонь откроют.

Возле меня кто-то злобно процедил сквозь зубы:

— Эх, фараоны, ожили, гады!..

Народ жался по сторонам, провожая солдат. Они — все в серых шинелях, в больших широконосых сапогах, в фуражках с красными околышами, без козырьков. Впереди шел офицер в светлосерой шинели, с саблей наголо. Офицер щеголевато повертывался и командовал:

— Ать, два, три, четыре…

У него было чисто выбритое лицо и разглаженные усы. Щетина штыков, плавно покачиваясь, плыла на фоне серого зимнего дня — тусклая, холодная, острая.

Вдруг в передних рядах затянул тощий тенор:

Надоело нам, ребята, Лето в лагерях стоять…
Дружный хор голосов покрыл запевалу:
Э-эх-эх-ха,
Черная галка,
Чистая полянка.
Ты же, Марусенька,
Черноброва,
Что же не ночуешь дома?
Лето в лагерях стоять,
Поутру рано вставать,
Э-эх-э-ха-ха,
Черная галка…

Но вдруг за перевалом горы первые ряды солдат точно во что-то уперлись. Мне не было видно, что там происходило. Я видел беспокойное движение, и до меня доносились странные глухие удары и вой сотен голосов. Народ хлынул в ту сторону. Меня стиснули в толпе и подняли. Не касаясь ногами земли, я поплыл куда-то в сторону. Вокруг меня кричали, ругались, стонали, плакали.

— Расходись, ребята, не то и нам попадет!

— Ой, батюшки, отпустите рученьку!

Я напрягал все силы, чтобы высвободиться. Мелькнула страшная мысль: «Сейчас растопчут». Я ухватился за чью-то ногу в плисовой широкой штанине, обнял её руками выше коленки.

Вдруг кто-то ударил меня по голове. Не помню, как я вылетел из толпы и, как мяч, нырнул в глубокий сугроб снега. По переулку, толкая друг друга, торопливо бежали люди, а за ними во весь опор мчались конные полицейские. Крики, брань, удары плетей, женские вопли — всё смешалось в непрерывный гул.

Домой я пришел уже вечером, когда стемнело. У меня саднили коленки и ломило плечо, но я молчал. Александр сердито спросил:

— Где был?

— Солдат смотрел, — стараясь говорить спокойно, ответил я.

— А тут о тебе, дураке таком, беспокоятся.

Вошла Ксения Ивановна.

— Вот он — явился, — сказал ей Александр, указывая на меня, — никуда не девался.

Ксения Ивановна радостно взглянула на меня и, улыбаясь, проговорила:

— Ну, слава богу… А я уж думала — бог знает, что с тобой… Поесть, поди, хочешь? Иди, поешь…

Она налила мне чашку молока и отрезала ломоть свежего хлеба… Я с аппетитом принялся есть, рассказывая всё, что видел за день.

# НЕДОИМКИ

На другой день, под вечер, к нам пришел Павел. Он ни разу еще не был у нас.

— Дома брат?

— Дома, проходите… — приветливо встретила его Ксения Ивановна.

Я обрадовался, подошел к Павлу в темной передней и поздоровался, а он, ласково коснувшись моего плеча, сказал:

— Что к нам не ходишь? Не велят, что ли?

Вошел Александр, недружелюбно проговорил:

— Здравствуй, Павел Петрович! Что скажешь?

— Да не с добрыми вестями пришел.

— Что так? Проходи.

— Ноги-то у меня грязные. Я прямо с работы, дома еще не был.

Давай, хоть здесь поговорим.

Он прошел в кухню и присел к столу.

— Сейчас только из волости, вызывали… недоимки требуют… У тебя старшина не был? Сам ходит по дворам, взыскивает…

— У меня денег нет, — холодно проговорил Александр.

— Я к тебе не за деньгами пришел. Мне не надо, я сам за себя заплачу. За отца требуют.

— За отца?

— Да, за отцом недоимки нашли; за покойным… А вот его податная книжка. В ней всё записано. Всё, до копейки уплачено… А они грозят. «Если, — говорят, — не заплатите — пороть…»

Александр взял из рук Павла черную тонкую книжку и, перелистывая, заметил:

— Я не вижу недоимок.

— Я говорил им, что всё в порядке, а они, волостные крысы, своё: «У нас, — говорят, — в книгах нет, не записано». Пятнадцать рублей с копейками… А где их сейчас возьмешь? Пополам надо нам разделываться-то…

Александр слушал брата и кусал правый ус. Вдруг в окно настойчиво постучали. Я выбежал. У ворот стояли три черные фигуры, в одной из них я узнал полицейского.

— Дома хозяева-то?

— Дома.

— Кто здесь живет?

Они вошли в избу.

Высокий плечистый человек с русой бородой, в короткой меховой шубке, в бобровой шапке, прошел вперед, снял шапку и, перекрестившись на иконы, спросил:

— Ну-ка, где хозяин?

— Я хозяин, — ответил Александр.

— Это что, старший? — осматривал Александра с ног до головы, спросил человек. — Знаешь меня?

— Где-то будто видал, — ответил Александр.

— Видал? — насмешливо спросил человек. — Плохие вы люди, когда свое начальство не знаете. А старшину волостного… знаешь?

— Знаю… Григорий Николаич?

— Да, да. Григория Николаича, по фамилии Кузнецова.

Говорил он подчеркнуто вызывающим тоном. По-хозяйски расселся у стола, не снимая шубы, и приказал волостному писарю, кряжистому человеку с широкой серой бородой:

— Ну-ка, смотри, Петр Иваныч, ихние дела…

Писарь раскрыл толстую книгу. В комнату вошел Павел.

— А-а-а! И этот здесь? Ну, тем лучше, — проговорил Кузнецов. — Податные книжки дайте.

Писарь долго искал, перелистывая свою книгу. Кузнецов отечески говорил:

— До чего довели! Старшина — ваше выборное лицо — самолично ходит, собирает с вас деньги… Какой нонче народ слабый стал… Ну, вот теперь придется подтянуться… Сколько, говоришь, Петр Иваныч, за ними числится?

— За Павлом?… Двенадцать рублей семьдесят восемь копеек… За три года, значит.

— Та-ак! Ишь ты…

— У меня же всё уплочено, Григорий Николаич, — возразил Павел.

— Ты погоди… Говори, когда тебя будут спрашивать, — строго остановил его старшина. — А за Александром?

— За Александром?… За шесть лет.

— Ого-о! Как это вышло-то?

— Я же был на военной службе четыре года…

— Тоже обожди, милейший мой… Дальше, Петр Иваныч!

— А от отца осталось недоимок за пять лет — пятнадцать рублей и восемьдесят девять копеек.

— Так… Ну? — смотря исподлобья на братьев, спросил старшина. — Будете платить али нет?

— Вы посмотрите в наши-то книжки, — сказал Павел, — по ним недоимок не числится.

— Я вас спрашиваю: платить будете?

— Почему же мы двойные подати будем платить?

— И за четыре года военной службы… Не полагается… Не по закону…

— Ну, ладно, Петр Иваныч, пойдем. С ними каши не сваришь, — вставая из-за стола, зловеще проговорил Кузнецов, бросая на стол податные книжки. — Я верю своим книгам, а ваши мне ни к чему. В них любой сборщик податей за бутылку что угодно напишет.

— Это же лихоимство, — промолвила вошедшая Маруся.

Кузнецов посмотрел на Марусю и насмешливо проговорил:

— А по моему разумению, так это дело обойдется без баб… Хы!.. Какая ведь Миликтриса Кирбитьевна выискалась! Ты можешь, мадам, поговорить со своим мужем потом. А вам, почтенные господа, вот что я скажу, — обратился старшина к моим братьям, подчеркивая каждое слово: — если завтра об эту пору вы не внесете в волостное правление сказанную вам сумму, оба пойдете туда… Знаете, во дворе волостном есть богоугодное место, каменный мешок… В клоповник! А потом выпороть прикажу вас.

— Так как же, Григорий Николаич?…

— Молчать! — грозно перебил старшина Павла и свирепо топнул ногой, отчего звякнула посуда в стеклянном шкапчике. — А потом каждый извольте позвать по солдату и накормить его… Поняли? — Пойдём, Петр Иваныч.

Они вышли, провожаемые глубоким молчанием. Этот рослый человек своим криком точно связал братьям язык. Опустив руки, они стояли понуро и не смотрели друг на друга.

— Эх! — произнес, наконец, сдавленным голосом Павел. — Пользуются случаем…

Он смял в комок свою шапку в больших скрюченных пальцах и направился к выходу, говоря тихо на ходу:

— Прощайте…

# ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ

На другой день к вечеру Александр привел солдата.

— Раздевайтесь, — проговорил он в прихожей, сам торопливо прошел вперед.

Его встретила Маруся. Она была одета в легкое светлоголубое платье. Лицо её было густо напудрено.

— А какой? Солдат? — топотом строго спросила она.

— Фельдфебель, Марусенька, и сверхсрочный.

— Я же тебе велела пригласить офицера.

Александр виновато пожал плечами.

— Противный! — сдвинув брови, проговорила она. Но сейчас же заулыбалась и сменила тон: в комнату входил фельдфебель.

Он был в коротком мундире, на плечах его пестрели красные погоны с широкой нашивкой из позумента. На левом рукаве тоже были нашивки из позумента, пришитые углом. На груди болталась медаль, похожая на серебряный полтинник. Фельдфебель показался мне сшитым из разноцветных красивых лоскутьев.

У него были большие, густые темнорусые усы. В них просвечивали тонкие редкие нити седины. Он громко высморкался в большой красный платок, приподняв брови, отчего на его клинообразном высоком лбу, увенчанном жестким ершиком волос, зашевелились крупные морщины.

— Милости прошу, — почтительно проговорила Маруся. — Проходите.

Фельдфебель неловко тряхнул руку Маруси, а она, склонив голову немного набок и пригибая колени, как-то присела, точно хотела сесть на пол.

— Вот это моя благоверная, — хвастливо сказал Александр. — А это, Марусенька, Федор Иванович Наймушин.

Наймушин откашлялся:

— Очень приятно… Фельдфебель третьего срока.

У Наймушина был сиплый, пропитой голос.

— А это? Уж не сынишка ли ваш? — подходя ко мне, спросил Наймушин.

— Нет, это братишка.

— У-у… Братишка? Ишь, ведь какой остроглазый!.. Ну, здорово, молодец!

Он протянул мне руку. Мне не понравилась его рука: мягкая, скользкая, торопливая. Не понравились мне и глаза его. В них было что-то хвастливое. Они вылупились из мясистых безволосых век и смотрели с рыхлого лица двумя большими стеклянными

пуговицами.

На столе пофыркивал самовар. Появилась бутылка с водкой. На меня соблазняюще смотрели со стола жирные кружочки колбасы и кусок ореховой халвы. Александр, поймав мой взгляд, строго посмотрел на меня, прищурил глаза и показал кивком головы, чтобы я уходил. Но мне уходить не хотелось.

Наймушин, выпив несколько рюмок водки, стал развязней. Его усы точно стали еще больше, он часто их ласково разглаживал платком.

— …Ехали мы к вам сюда, — рассказывал он, — и думали, что едем на форменную войну. Его превосходительство, губернатор, приказал выступить с полным вооружением. Нам рассказывали, что здесь бунтари половину селения сожгли и перебили много народу.

— А бунтовщикам что сейчас будет? — спросил я.

— Что будет? Плохо им будет…

— Их пороть будут?… А кто их будет пороть?

— Кто будет пороть? — вскинув брови, переспросил Наймушин, смотря на меня удивленными глазами. Он точно испугался поставленного мной вопроса и, как-то неестественно моргая, пробормотал: — Для этого есть особые люди.

— А им много за это платят? — снова спросил я, но ответа не дождался.

Александр торопливо выдернул меня из-за стола за руку и вытолкал в кухню, говоря строго:

— Каждый сверчок — знай свой шесток… Где тебя не спрашивают — не суйся.

— Удивительно, какой выскочка, — услышал я голос Маруси. Ксения Ивановна поучительно сказала:

— Ты никогда не вмешивайся в разговор взрослых. Нехорошо это.

Мне приказали лечь спать, и я нехотя улегся. Но мне не спалось, назойливо лез в уши разговор в соседней комнате. А разговор там становился оживленней. Пришел с гитарой сосед Спиридон Грязнов — неприятный, хвастливый парень, но искусный гитарист. В руках его мягко загудела гитара басовыми струнами.

— Люблю музыку… — донесся голос Наймушина. — Бывало, в походе идешь усталый, а как заиграет музыка — сразу легко… А ну же, какой-нибудь марш! С барабанным боем.

Спиридон заиграл что-то бравурное. Наймушин ходил по комнате. Половицы под ним поскрипывали. Он командовал:

— Ать, два! Дай ногу! Ать, два! Правое плечо вперед! Прямо! Ать, два! Кру…гом!

— Вы хорошо играете, — сказала Маруся.

— Спиридон… Спиридон, а ну-ка «Ночь тиха», — попросил Александр.

— «Ночь тиха»! Ать, два!

— Верно, Шурик, «Ночь тиха».

Гитара протестующе загудела, к ней присоединился приятный баритон Александра:

Ночь тиха, лови минуты,
Да крепка тюрьмы стена,
У дверей её замкнуты
Два железные замка.

Мне вспомнился прежний Большак, его доброе, ласковое лицо. Мне кажется, что он вот только сейчас возвратился с военной службы, пришел в комнату и поет. Но его прерывает Наймушин:

— Нельзя эту песню петь.

— Почему?

— Запрещенная.

— Я же её певал в театре. Когда ставили «Из темного угла»…

— Всё равно, запрещена… Спиридон, играй что-нибудь веселое.

Гитара весело загудела, квинта выкрикивала. Наймушин, прищелкивая пальцами, плясал, напевая:

Как француз у турки в службе.
Англичанин с ними в дружбе
Покумились, знать.

Я заглядываю с постели в открытую дверь. Наймушин топчется на одном месте, лицо его самодовольно улыбается, а глаза точно стали еще больше. Они освещают его дряблое лицо. Брови его вскинуты, нижняя губа оттопырена.

Времена настали тяжки
— Два союзника в пристяжке,
А султан в корню.

Спиридон деловито пощипывает пальцами струны гитары. Он отвернулся, и его большеносая тень уродливо движется по белой, штукатуренной стене.

Говорят, что Русь погибла,

А на самом деле — рыло
У самих в крови.

Александр, покачиваясь у стола, наливает рюмки. Наймушин поднимает рюмку и продолжает петь:

Хлебом, солью Русь богата,
На приемы таровата
— Любит угостить.

— За здоровье государя императора, Ур-ра! — вдруг рявкнул Наймушин и залпом опорожнил рюмку.

Пирушка затянулась до поздней ночи. Я сквозь сон слышал гитару, какую-то возню, топанье ног и возгласы:

— Вашу ручку…

Потом был слышен жаркий спор и жалоба Александра:

— Таких законов нет, чтобы за время военной службы подати собирать. Я по уши в долг залез…

— Власть, батенька мой. Эх-хе-хе-е!.. Поставь тебя на это дело — тоже бы…

На полатях десять мух
Русского плясали,
Увидали паука
— В обморок упали.

— Эх, милый, плохо тебя терли на военной службе… Если бы ты знал, как вот я дослужился до этих нашивок. Эта медаль получена за усмирение бунта. Только не такого, что у вас. Что это! Дураки, бараны… То был рабочий бунт. И мы в них стреляли, как в неприятеля, как по туркам…

Речь Наймушина звучала на этот раз в глубокой тишине. Точно из комнаты все разбежались. Мне стало страшно. Я закутался с головой в одеяло.

# БЕГ НА МЕСТЕ

Возвращаясь домой из школы, я останавливаюсь у волостного правления и каждый раз вижу необычное. У крыльца толпится народ. Под усиленным конвоем приводят меднорудных рабочих, за ними идет пестрая крикливая толпа женщин. Они с воплями провожают своих мужей, отцов. Арестованные входят по ступенькам на высокое крыльцо правления, оборачиваются и, снимая шапки, кричат своим женам:

*Женщины с воплями провожали своих мужей и отцов.*

— Ну, прощайте! Живите хорошенько… Не ревите…

Однажды я залез на забор и смотрел внутрь волостного двора. Там происходило обучение солдат. Солдат на этот раз было немного, а обучал их знакомый мне человек — Наймушин. Он важно расхаживал возле шеренги солдат и что-то объяснял. Солдаты с ружьями и тяжелыми ранцами за плечами делали бег на месте. Наймушин был чем-то обозлен. Он ругал маленького рыжего солдата. Потом вывел его из шеренги и скомандовал:

— Смирно! Бег на месте, аррш!

Солдат, семеня ногами, торопливо топтался, разминая рыхлый снег.

— Стой! — крикнул Наймушин. — Евдокимов!

Из шеренги вышел высокий солдат.

— Покажи ему, дураку, как нужно бегать. А ты смотри, дубина стоеросовая! Бег на месте, аррш!

Высокий солдат качнулся всем телом вперед и быстро стал переступать на месте, сосредоточенно смотря в землю.

— Стой! Ну, ты, куль, видал? Иди, Евдокимов. Смирно! — крикнул он снова маленькому солдату. — Я тебя научу бегать! Ты не отобьешься… Ну, бег на месте, аррш!

Солдат снова торопливо засеменил ногами, а Наймушин окинул его с ног до головы сердитым взглядом, заложил назад руки и ушел.

Солдат торопливо топчется, снег под ногами пересыпается, как крупа. Я вижу, что он задыхается от усталости. Он тупо смотрит в землю. Задние солдаты стоят шеренгой и молча смотрят на своего товарища. Наймушина нет. Я прислонился головой к столбу и замер. Солдат уже теряет равновесие. Он еле-еле переставляет ослабевшие ноги.

На крыльце появился Наймушин. Он выпятил брюшко и, закинув руки назад, исподлобья смотрел на измученного солдата.

— Это что? Бег на месте, дай ногу!

Солдат, обессилев, качнулся, точно кто толкнул его, и упал на колени. Хотел, очевидно, встать, но снова качнулся и, как мешок» упал на снег, вверх лицом, прижимая к себе винтовку.

Глаза Наймушина злобно засверкали. Он подошел к солдату и грозно крикнул:

— Встать!

Солдат хотел было подняться, но Наймушин с силой пнул его в бок. Солдат свалился вниз лицом.

Я сполз с забора и заревел. Мне хотелось сделать Наймушину что-нибудь такое, чтобы ему было больно. На глаза мне попался камень. Я схватил его, но он крепко вмерз в землю. Я свирепо принялся отбивать его каблуком. Камень не поддавался. Я выворотил его и, не помня себя, швырнул через забор.

— Кто там швыряется камнями?!

Я бросился бежать по переулку.

# ПОРКА

Я незаметно вышел из дома и торопливо направился к волости. Выбежав на базарную площадь, я услышал душераздирающие женские крики. Толпа людей окружила здание. Толпа гудела. Где-то выла женщина.

— Да родимые вы мои детушки! Да куда я теперь с вами денуся?…

Кто-то рыдал. Кто-то злобно, но тихо говорил:

— Слыхано ли дело, чтобы при воле пороть! Нет на то законов!!

— Для них законов нет… Законы для нас…

— Ну, переполнится чаша терпения народного. Будут дела…

В середине волостного двора слышен дикий вой. Точно там бьют быка по голове. Через открытые настежь ворота, во дворе, видно какое-то движение, но его загораживает плотная серая стена мрачных часовых.

Я пробираюсь узким переулком, запруженным народом. Вдоль забора непрерывной цепью стоит усиленный караул солдат с ружьями. Я пробиваю локтями себе дорогу. Меня ткнула в спину какая-то старуха, потом я получил подзатыльник от рыжего мужика. Он сердито на меня посмотрел и выругался:

— А этих, прости господи, сверчков везде спрашивают! Везде им дело есть!

Всюду стоят солдаты и полицейские. Они кричат:

— Отойдите, не напирайте, или вам же плохо будет!

Задние ряды давят. Передние уже вплотную притиснуты к солдатам.

— Отойди! — грозно крикнул усатый солдат. — Смирно! На руку!..

Солдаты враз качнулись. В их руках зловеще звякнули винтовки. Народ шарахнулся от солдат. Где-то в толпе слышался заглушённый женский голос:

— Ой, батюшки мои светы, родимые, отпустите, бога ради!.. Народ отхлынул. На снегу лежала вниз лицом женщина в полосатой шали. Она билась в страшных судорогах и скребла ногтями утоптанный снег. Её подняли и унесли.

Меня неожиданно дернул за рукав Архипка Двойников, знакомый по школе мальчик.

— Пойдём, — сказал он.

— Куда?

— Смотреть, как порют… Уй, здорово! Я видел.

— А куда? — переспросил я.

— Айда, знай!

Мы забежали в какой-то двор, залезли на поленницу дров, а с неё пробрались на отлогую крышу сарая.

— Ты не показывайся, а то увидят — прогонят, — предупредил меня Архипка.

Мы поползли по глубокому снегу к краю крыши и замерли.

Весь двор перед нашими глазами был как на ладони. Посреди двора стояла длинная тяжелая скамья. Вокруг неё вытянулись неподвижно солдаты с ружьями. Их штыки торчали, как тонкие свечи. Возле них шагал взад и вперед офицер в светлосерой шинели. По двору ходили полицейские, сотские в нагольных и овчинных полушубках, с медными бляхами на груди. Тут же была видна рослая фигура старшины Кузнецова. Он — в черном суконном меховом пиджаке, в круглой, как решето, с красным бархатным околышем шапке, в черных перчатках. В углу вздымался ворох ивовых прутьев.

— Розги лежат, — тихо пояснил мне Архипка. — А порют вон на этой скамейке. А вон палач-то ходит, видишь?

— Где?

— Да вот в красной-то рубахе, рукава-то у него засучены. Уй, хлестко стегает!

У меня сперло дыхание, в горле стало сухо. Я чувствовал, как моё сердце учащенно забилось в груди. В палаче я узнал Наймушина. В руках у него, связанные в пучок, гибкие, тонкие ивовые прутья. Он потряс розгой в воздухе и, лихо размахнувшись, хлестнул ею по земле. Розга издала злобный свистящий звук.

— Гляди, ведут! — толкнув меня в бок, сказал Архипка.

Из каменного здания вывели рослого, широкоплечего парня лет двадцати двух, в широких плисовых шароварах, в синей рубахе без пояса, с расстегнутым воротом. На голове его — густая шапка всклокоченных кудрявых волос. Он упирается, не идет. Два дюжих сотских ведут его под руки, третий толкает сзади. Парень бьется, падает. Его поднимают и волокут к скамье. Глаза его испуганны, губы крепко стиснуты.

Вдруг он вскочил на ноги и, развернувшись, раскидал сотских, но на него навалилась куча людей. Свалили на скамью и связали, закинув под скамью руки. Двое здоровых солдат сели на него верхом.

Наймушин, не торопясь, подсучил рукава, плюнул в пригоршни.

— Всыпай! — крикнул офицер.

Наймушин размахнулся. Розга просвистела в воздухе и опустилась.

Парень вздрогнул, извился змеей и дико зарычал.

Я закрыл руками глаза. Парень выкрикивал диким голосом отборную брань. Потом его крики перешли в непрерывный вой. Розга резала воздух и кромсала тело парня на куски.

Мне казалось, что Наймушин хлещет не по телу, а по изорванному багровому лоскуту. Струйки крови падали и всасывались в снег. Глаза Наймушина остеклянели. Переводя тяжело дыхание, он отошел от скамьи.

К парню подошел очкастый человек в шляпе. Он пощупал руку парня, подошел к офицеру, сказал ему что-то. Офицер крикнул;

— Двадцать пять еще!

Снова засвистела розга.

— Крепче!

*Парень уже не двигался.*

Но парень уже не двигался. Он лежал, как мертвый.

— Не мажь! — кричал офицер.

Парня сняли со скамьи и, как мертвого, утащили обратно. Вывели седого старика. Он шел покорно, не сопротивляясь. Подошел к скамье, сам спустил штаны и, перекрестившись, лег на неё.

Я заплакал, сполз с крыши и, не помня себя, побежал домой.

По дороге зашел к Павлу. Екатерина меня встретила молча. Лицо её было мрачное, опухшее, глаза мокрые.

— Где был? — спросила она меня, когда я разделся.

— Там, — сказал я.

— Что ведь делают! А?… Олешка…

Голос у неё дрогнул. Она ткнулась головой в подушку и заплакала.

Я ни разу не видал, как плачет Катя. А я уже не плакал, а был в каком-то тяжелом забытье. Мне ярко представлялась кровь. Она рдела огненными пятнами на снегу, как втоптанный в снег кусок живого мяса, вырванный из тела человека. Я не мог восстановить в памяти ни лица Наймушина, ни офицера, ни Кузнецова. Их лица сливались в одну уродливую звероподобную морду, заросшую жесткой шерстью и забрызганную кровью.

* * *

Эти кошмарные дни бросили густую тень и на жизнь нашей школы. В ребятах не стало прежнего оживления. Они присмирели, притихли и, собираясь кучками, таинственно о чем-то разговаривали. Низкий потолок огромного зала стал точно ниже, тяжелее, мрачнее.

В окна смотрит январский грустный день. По залу ходит Луценко; он как будто стал настороженнее. Тихо подходит к ребятам и прислушивается, не смотря на них. Меня давит эта обстановка. Виденный мною кошмар настойчиво преследует меня.

Я смотрю на толстого, неповоротливого мальчика Телепнева. Он изменился. С его румяного лица слетела всегда приветливая, спокойная улыбка. Лицо осунулось, потемнело. Он одиноко ходит по залу, подходит к окну и подолгу грустно смотрит в серый зимний день, будто кого-то ожидал. Он стал сиротой, как и я. Отца его запороли: дали двести ударов и, мертвого, сняли со скамьи. Мать умерла, как мне рассказали, «в одночасье», узнав о смерти своего мужа, по дороге от волостного правления.

Мне хотелось подарить Телепневу что-нибудь такое, от чего у него заиграла бы снова улыбка. Но я ничего не мог придумать. Потом принес ему грифель и два новых перышка. Он взял их, посмотрел мне в глаза и тихо заплакал.

Однажды мы стали расспрашивать Телепнева об отце. Но тут неожиданно вырос Луценко и закричал:

— Вы что с ним тут няньчитесь?…

Мы испуганно разбежались по разным углам. Я видел, как Луценко схватил Телепнева за плечо, тряхнул его и о чем-то спросил, а тот, посмотрев исподлобья, ответил и отвернулся от учителя.

Луценко помутнел, глаза его округлились, стали влажными, губы плотно сомкнулись. Он схватил Телепнева за шиворот и потащил по коридору.

До моего слуха донеслись злые слова Луценко:

— От собаки, видно, собаки и родятся.

Мы побежали вслед за ними. Луценко привел Телепнева в раздевалку:

— Где твоя одежда?… Эта?… Одевайсь!

Телепнев надел шубенку, шапку с ушами. Луценко взял его за ворот, подвел к краю лестницы и толкнул, пробормотав сквозь стиснутые зубы:

— Пшел прочь из школы!

Телепнев, гремя сапогами, покатился вниз по ступенькам лестницы и ударился головой о стену. Мальчик молча перенес всё это. Он не плакал. Он посмотрел на учителя взглядом, полным ненависти, и направился к выходу. А Луценко обернулся к нам и крикнул;

— А вы чего не видали?… Марш по местам!

Сшибая друг друга, мы побежали по коридору в зал. Кто-то плакал, кто-то смеялся.

Потом мы видели, как Глеб Яковлевич грустно и строго сказал что-то Луценко, а тот презрительно улыбнулся и, закинув руки назад» зашагал вдоль коридора.

# НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ

Осенью в школе у нас произошло большое событие: Глеба Яковлевича и Луценко не стало. Вместо них появились новые учителя, а наша народная школа стала называться городским училищем.

Мы с любопытством заглядывали через стеклянные двери в учительскую. Там за столом сидели два учителя, одетые в синие сюртуки со светлыми пуговицами.

Ко мне подбежал Ванюшка Денисов, сын железнодорожного машиниста, рыжий мальчик. Он сильно заикался.

— Т-т-ты не знаешь, к-к-как зовут их?

— Нет. Надо спросить. Я спрошу.

— Не сп-сп-спросишь.

Я бросил на Денисова насмешливый взгляд и смело зашел в учительскую, но, сразу оробев, стоял и топтался у дверей.

— Тебе что? — ласково спросил меня приземистый учитель с пухлым добрым лицом, обросшим густой темнорусой бородой.

— Вас как зовут?

— Меня — Петр Фотиевич, а это — Николай Александрович.

Он показал на широкоплечего учителя с крупным скуластым лицом, усеянным мелкими веснушками. Волосы его, цвета ржавого железа, опушили голову мягкой курчавой мерлушкой.

Николай Александрович посмотрел на меня и улыбнулся, но от улыбки его веяло холодом. Петр Фотиевич спросил меня:

— Как твоя фамилия?

Я сказал.

Заглянув в книгу, он спросил:

— Из третьего отделения?… Ты молодец. Иди.

Я выскочил и гордо сообщил ребятам, как зовут учителей, а потом с еще большим достоинством сказал:

— Я буду в третьем учиться.

Среди ребят ходил высокий стриженый учитель с лобастой светло-русой головой. Он был тоже в синем сюртуке. Я подошел к нему и храбро спросил:

— Вас как зовут?

— Меня? — улыбаясь, спросил он. — Меня зовут Алексей Иванович, а вот низенький, с бородою, — Петр Фотиевич. Это наш инспектор.

А другой, такой курчавый, — Николай Александрович…

— Я знаю, — перебил я его.

— Уже знаешь? А вот того, — он показал на учителя с добродушным, смеющимся бритым лицом, — Константин

Александрович.

Новых учителей мы переименовали по-своему. Петра Фотиевича — просто Фотич, Константина Александровича — Костя Хлебников, Алексея же Ивановича — Алеша Пяташный.

Последнее прозвище дал я. А вышло это так. Однажды в классе мы особенно сильно разгалделись. Я увидел, что по коридору к нам идет Алексей Иванович, и поторопился предупредить:

— Ребята, тише! Алеша Пяташный идет.

Меня выдал маленький большеголовый Серьга Великанов: он пожаловался учителю. Алексей Иванович подозвал меня и, обиженно краснея, спросил:

— Как ты меня назвал?

Потупясь, я молчал. Мне было стыдно и досадно на себя. Я чувствовал, что незаслуженно обидел Алексея Ивановича, а он стоял и ждал, потом проговорил:

— Если ты хороший мальчик, хоть и шалун, то скажешь.

Я сказал тихо:

— Пяташный.

А тебя как зовут?

— Алексей.

— Значит, ты тоже пятак стоишь? А оба мы с тобой стоим гривенник. Этакий ты дурачок! — укоризненно сказал Алексей Иванович. — Иди-ка!

Пристыженный, я сел за парту.

Алексея Ивановича мы любили, он был простой, добродушный человек. Осенними теплыми днями, в большую перемену, мы выходили на улицу играть в бабки. Алексей Иванович охотно играл с нами. Так же, как и мы, выбирал «биту» потяжелее и «саклистее»; как и мы, бегом подбегал к кону, когда вышибал, и скандалил из-за каждой бабки.

Играли мы и в городки, условившись ездить на тех, кто проиграет. Однажды мы выиграли. Я ловко уселся на загорбок Алексея Ивановича и поехал, пришпоривая и понукая его, как лошадь:

— Но, но, ленивая!

Он, улыбаясь, вприпрыжку повез меня и даже взлягнул ногой. Мы хохотали.

Боялись мы учителя русского языка — Николая Александровича Бояршинова. Когда он приносил в класс наши тетради, мы сразу угадывали его настроение. Нижняя челюсть его выпячивалась вперед, точно зубы его были крепко стиснуты. Он молча подходил к столу. Не торопясь, раскладывал тетради и доставал по одной. Моя тетрадь всегда была первой — Я с

замиранием сердца ждал разбора тетрадей.

Однажды, открывая мою тетрадь, он глухо, зловеще вызвал меня.

Я встал.

— Твоя это тетрадь?

— Моя.

Ты что в ней делаешь?

Пишу.

— Пишешь? Что пишешь?

— Сочинение.

— Сочинение?

Нижняя челюсть его начала шевелиться, словно он точил зубы.

— Вот послушайте, что он пишет.

Бояршинов приподнял тетрадь и стал читать с ядовитой усмешечкой:

— «Был вечер, ласково светило солнце, согревало спину». Кому грело солнышко спину?

— Мне.

«В густом тополе запел соловей». Ты слыхал соловья?

— Нет.

— А может быть, ворона каркала? А вечером солнце с которой стороны светит?

— Там, в той стороне оно закатывалось.

— А соловьи когда поют?

По классу пробежал тихий смех. Рядом со мной торжествующе улыбался Архипка Двойников. Я ему незаметно для учителя показал кулак.

— Когда соловьи-то поют, слыхал ты их?

— Не слыхал.

— А пишешь… Сочинитель! А написано как? Вот полюбуйтесь! Он повернул к нам исписанные страницы тетради, исчерканные красными чернилами.

— «Пел» — как нужно писать?

— Через ять.

— А у тебя?…

Он бросил мою тетрадку и еще плотней сжал губы.

— Вот еще полюбуйтесь. — Он взял тетрадь Двойникова и начал читать: — «Я пал, дрыгал ногам». Что это? «Рукам», «ногам», «шапкам закидам»… Эх вы, вогулы! «Сариса», «куриса», «улиса», «именишшса».

Тетрадь полетела к Архипке.

Но когда учитель взял тетрадь Абрама Когана — маленького чистенького мальчика в сером суконном костюме, сына торговца

золотыми вещами, — тон его изменился:

— Берите с него пример, — сказал он ласково и добродушно.

Коган заносчиво посмотрел на нас и хвастливо улыбнулся.

Хвалил Бояршинов еще Бориса Шульца, сына жандармского ротмистра. Весь класс этого Шульца не любил. Мы звали его «Нос с дырой». Лицо у него было плоское, рот перекошен, точно он переместился со своего обычного места, а одна ноздря была вырвана. Говорил он точно в пустую бочку. На нем были серая суконная курточка, белые-манжеты, воротничок, а брюки он носил, как большой, навыпуск.

Однажды ко мне после уроков подошел Денисов. Он был возбужден и от волнения не мог выговорить ни слова.

— Ленька, что он бг-бг-бг-бешеной собакой рычит на нас?

— Кто?

— А Николай Ал-ле-лександрыч. Мне тык… тыку поставил… А Борьке-Шульцу, ур-уроду. — пять. А Бг… Борька у меня списал. «Нос с дырой»!

Говорить ему было трудно, он торопился и от этого еще больше заикался. Маленькие глаза его сощурились, сухое лицо исказилось.

Мы видели, что Бояршинов выделяет Когана и Шульца. Все знали, что Коган имеет дома репетитора, а Шульц за взятку списывает уроки у других. Помогал ему Мишка Богачев. О первых же дней между нами возникла жестокая война.

Шульц злился на нас, лез с нами драться, шел жаловаться в учительскую.

Жаловался и Абрашка Коган. Этот заносчивый мальчишка чувствовал себя первым учеником.

Денисов раз не выдержал, подошел к Богачеву и строго заявил:

— Ты, М-м-мишка, если бг-бг-будещь еще «Носу с дырой» давать спис… списывать, мы т-т-тебя ра-аспишем!

Богачев, широкоплечий смугляк, презрительным взглядом окинул суховатую фигуру Денисова и желчно ответил:

— Не твое дело.

После занятий, выходя из школы, мы атаковали эту тройку, в между нами завязалась жестокая драка.

Я занялся Шульцем, во мне кипела ненависть к нему. Ненависть эта была подогрета еще тем, что Шульц однажды в разговоре о бунте рудокопов хвастливо сказал:

— Здорово всыпали бунтовщикам! Так и надо!

Мне тогда еще хотелось расправиться с ним, но я сдержался. И вот теперь я свалил его в снег и усердно принялся тузить, а потом засыпал ему лицо снегом, пнул его и ушел.

На другой день в школу пришел ротмистр — отец Шульца, высокий человек с большими рыбьими глазами и желто-русыми, лихо закрученными усами.

На нем были светлосерая шинель с длинным капюшоном и серая каракулевая шапка с белым султаном спереди, похожим на кисточку из парикмахерской. Он что-то долго и внушительно говорил Петру Фотиевичу. А когда ушёл, Петр Фотиевич пришел к нам в класс и заявил:

— Если я узнаю еще о ваших драках, буду вынужден, кой-кого исключить из школы.

Мы почувствовали, что угроза эта исходит не от него, а со стороны. А дня через два брат Александр пришел домой нервный, возбужденный. Он зловеще спросил:

— Где Алешка?

Я сидел и читал книжку. Александр неожиданно подошел ко мне, схватил меня за волосы и бросил на пол. В руках его мелькнул толстый сухой сыромятный ремень. Я молча принял удар. Горячий свист ожег мне ухо. А потом ожгло спину… Мне казалось, что ремень со свистом резал мое тело на куски.

Брата я не видел. Его лицо плавало, как в тумане, искаженное злобой, с перекошенным ртом и маленькой рыжеватой бородкой.

Я, как сквозь сон, слышал удивленные возгласы Ксении Ивановны:

— Что это?… Саша, Саша, что вы делаете?

— Стервец! Вздумал бить сына жандармского ротмистра. Вызывали меня. «Уволим, — говорят, — со службы…» Из-за этого щенка… — охрипшим голосом рассказывал Александр.

Я сидел в углу избитый, но не плакал. Мне было горько и удивительно. Я еще не видел брата таким.

— Странно… В мама его защищает, — холодно рассуждала Маруся в соседней комнате.

В этот вечер пришел Цветков. Узнав о происшедшем, он расхохотался.

— Не любит жандармов? Ай, молодец, Алешка! Ей-богу, молодец! — И, понюхав табаку, уже серьезно добавил: — Бить, Александр Петрович, не полагается.

А на другой день Шульц, узнав, что меня били, злобно улыбнулся плоским перекошенным лицом:

— Всыпали?

Я промолчал. Потом брезгливо посмотрел на него и сказал:

— Это тебе даром не пройдет. Так и знай: за каждое битье я тебя буду десять раз волтузить.

Должно быть, мои слова были убедительны: он сразу стих, присмирел и больше не подходил ко мне.

Вскоре Шульца не стало: он поступил учиться в гимназию. Весь класс точно сбросил с себя какое-то ярмо.

* * *

Мы любили заниматься с Петром Фотиевичем. Он был маленький, с пухлым лицом, обросшим русой бородой. Преподавал он у нас математику и естествознание.

*Под стеклом лежали масса красивых ракушек.*

Однажды он принес микроскоп и показал нам крупинку мела. Я не верил своим глазам: масса разновидных красивых ракушек, заключенных в круг, лежала под стеклом, а Петр Фотиевич рассказывал:

— Сколько потребуется, ребята, лет для того, чтобы образовались меловые горы? Миллионы лет.

Лицо его розовело, а серые глаза молодо светились. Часто на урок он приносил толстую книгу, садился за стол и говорил:

— Давайте, ребята, читать.

Он любил читать Некрасова. В классе тишина, мы с затаенным дыханием слушаем его задушевный голос.

…Ну, саврасушка, трогай,
Натягивай крепче гужи.
Служил ты хозяину много,
Последний разок послужи…

Эти слова пробуждают во мне жутковатый трепет и какие-то новые чувства.

В классе тишина. Слышно, как в стекло бьется и жужжит муха да кто-то осторожно шаркает ногой.

После этих уроков я уходил домой притихший, погруженный в свои думы.

Я тихонько иду узким переулком. Дует холодный ветер, мутные хлопья облаков осыпают землю густой кисеей снежной пыли. Я не чувствую холода и не замечаю сыпучего снега. В мыслях у меня — прочитанная некрасовская поэма «Мороз красный нос». В сумке у меня — книга, взятая из школьной библиотеки. Её выбирал сам Петр Фотиевич, С этих пор в мое сердце и вошла любовь к книжке, и поселилась она там, ласковая, приветливая.

# КЛИКУША

Если уроки Петра Фотиевича и Алексея Ивановича быстро усваивались нами, то уроки попа вмещались в нашей памяти с большим трудом. Ванюшка Денисов часто говорил словами евангелия:

— Легче в-верблюду пр-пройти в иг-игольные уши, чем выучить ур-оки по закону божшо бг-бг-батьке.

К нам приходил тот же поп — отец Александр Сахаров, — который бывал в приюте. Он рассказывал на уроках то же, что я слышал раньше. Только здесь каждый из нас должен был знать всё на-зубок.

Учить притчи о слепорожденных, о Лазаре не хотелось. Часто половина класса приходила, не выучив урока.

Но мы узнали слабые стороны попа. Обычно перед уроком дежурный вставал на стул и, подняв вверх руку, восстанавливал тишину.

— Кто знает урок по закону, подними руку! Поднималось рук пять-шесть.

— Говорим, ребята, про кержаков, — предлагал дежурный.

— Говорим.

— Идет! Кто начнет?

— Я! — вызывался кто-нибудь.

— Идет!

Приходил поп. Мы чинно вставали на молитву, добросовестно молились и садились. Поп гладил свою бороду. Вдруг кто-нибудь поднимал руку. Поп строго спрашивал:

— Чего тебе?

Ученик вставал и, улыбаясь, говорил:

— Батюшка, а почему кержаки не ходят в нашу церковь?

Поп сразу веселел, вставал и начинал с увлечением рассказывать о кержаках. Мы слушали, поддакивали, а поп с еще большим воодушевлением рассказывал про раскольников, стариц, живущих в скитах, их подставных богородиц, кержацких попов.

Раз пришла моя очередь задавать вопрос. Поп был в этот день особенно весело настроен. Он пришел в новой темносиней люстриновой рясе.

Я поднял руку.

— Чего тебе?

— Батюшка, я вчера ходил на могилу к отцу Иову[3]и смотрел, как там молятся.

— Ну, это туда, к Голому Камню, на ихнее мольбище?

— Да.

— Ну, и что же?

— Ну, там я видел каких-то кликуш.

— Кликуш?

— Ага… А потом они молились, молились да принялись обедать. Потом — опять…

— Ну, ну! — зажигаясь желанием говорить о кержаках, улыбнулся поп.

— Кликуши-то больно уж смешно… А они почему так кличут?

— Гм, почему? Известно, почему. Показывают, что на них снизошел дух свят… — насмешливо пояснил поп. — Садись!

Я сел, а поп встал и долго и пространно начал рассказывать о том, как молятся кержаки.

Он принялся широко креститься кержацким крестом, свирепо закидывая руку чуть не на затылок, и гнусаво начал читать:

— Се предста ми множество лукавых духов, держаще моих грехов написание, и зовут зело дерзостне…

В классе поднялся дружный, раскатистый смех.

— А бабешка-кликуша разве что понимает, о чем там читает ихний поп? Хлещет земные поклоны к месту и не к месту. А потом как заорет на все мольбище: «Ах!.. Ах!..»

Отец Александр вскинул руки вверх. Рукава его рясы смешно болтались.

Мы снова охвачены неудержимым приступом смеха. Поп был похож на сумасшедшего. Он широко разинул рот, волосы его всклокочились, ряса расстегнулась, из-под неё желтел подрясник. Встав в позу, пол фистулил, каркал, как ворона, которая подавилась:

— Ах!.. Ах!.. Низошел!.. Низошел!.. Свят дух!.. Низошел!..

Здесь уже представление дошло до высшего предела. Лицо попа покраснело, глаза налились слезами, брови вскинулись, а на лбу выступил обильный крупный пот. Подобрав свою рясу, как юбку, он вместе с рясой прихватил брюки, и мы увидели его чулки и розовые тиковые подштанники. Он крутился, подскакивал и кричал всё той же фистулой:

— Ах!.. Низошел!.. Дух… свят… Низошел!..

Хохот ребят перешел в протяжный гул. Особенно уморительно хохотал Ванюшка Денисов, поджимая живот:

— Аха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а! Ихи-хи-хи-хи-и-и-и-и-ой!

Дверь приоткрылась. В ней показалась плешивая голова сторожа Никифора.

Он испуганно посмотрел на попа, потом улыбнулся бородатым лицом и торопливо скрылся.

В коридоре серебристой струйкой пролился звонок. Это

Никифор возвестил об окончании урока.

Отец Александр встал. Он задохся, точно вбежал на гору. Оправил рясу, пригладил волосы и хвастливо сказал:

— Вот они, кержаки-то как. Разве это моленье? Дурь!

Потом уже, серьезный и полный достоинства, взял подмышку журнал и, направляясь к выходу, проговорил:

— Что у нас там? Притча о слепорожденном? Повторите!

Никифор, улыбаясь, вошел к нам и спросил:

— Чего это, ребята, с батькой-то случилось?

— Показывал, как у кержаков кликуши кличут.

— Ишь ты!.. А по-моему, он просто выпил сегодня… Будто и не знают без него кержаков. Сходи в молельну к Красильниковым, посмотри. Всё на виду.

# «ЦЕРКОВНАЯ ЗАДВИЖКА»

По праздникам нам приказывали утром являться в школу. Там выстраивали нас рядами по-двое и вели в церковь.

Мой брат пел в соборном хоре. Весной он привел меня в маленькую приходскую школу, где у соборных певчих были спевки, и передал меня регенту.

Регент — черный, как жук, высокий тощий человек — взял скрипку и, водя смычком по струнам, сказал:

— Ну-ка, тяни?

Я тянул.

— Правильно. У тебя альт.

Черные огромные усы регента сердито пошевелились.

Я любил ходить вечерами на спевки. Мы собирались раньше и в церковной ограде играли в застукалки — в прятки.

Раньше всех приходил регент. Он чертил на классной доске пять линеек и писал ноты, поясняя:

— Это — до, это — ре, а это — ми. — Вписывал крючки, черточки: — Это — пауза… Это — тутти, а это — форшлаг.

Потом, ударяя о руку камертон, он подносил его к правому уху и, прищуривая один глаз, задавал тон неприятным голосом:

— Ре-е… си-и… соль… — Приказывал: — Тяните!

Мы тянули.

Я скоро выучился петь и получал уже жалованье — двадцать копеек в месяц.

Стоя на клиросе в церкви, я наблюдал за людьми.

Каждое воскресенье у иконы иверской божьей матери я видел одну и ту же пару. Они очень выделялись из общей массы молящихся. Чиновник средних лет, с красивой черной бородой, стоял позади своей жены, рыхлой женщины в большой шляпе со страусовым пером. Он стоял строго, прямо, а она часто падала на колени и, смотря вверх, на иконостас, влажными, немного косыми глазами, жарко молилась. Я видел, что в ней живет неизмеримое доверие ко всему тому, что происходит за царскими и пономарскими дверями, в алтаре.

С первых дней посещения церкви мне думалось, что там именно происходит таинство общения человека с богом, как рассказывал нам отец Александр в классе. Я боязливо заходил в алтарь, где у престола всегда стоял священник. Мне сказали, что туда нельзя ходить.

Меня пощипывало любопытство.

— А что будет, если я пройду? — спросил я черного губастого дисканта, Алешку Кондакова.

— Шибанёт, — сказал он.

— Чем?

— А вот увидишь, чем.

Однажды я осмелился и пробежал через запрещенное место. Но меня ничем не «шибануло».

А в другой раз, за обедней, я видел, как дьякон Аристарх в блестящем стихаре и с большой золотой лентой через плечо стоял на запрещенном месте, широко расставив ноги, и просил у регента денег.

— До завтра, Александр Алексеевич, я сейчас кого-нибудь пошлю. Башка трещит… Не пропадать же сторублевой голове за двугривенный. Думал причастием опохмелиться, да батюшка все выжрал. Целую бутылку вылакал.

Регент дал денег.

Спустя полчаса дьякон Аристарх ушел в угол алтаря, достал из-под стихаря полбутылки водки, открутил красную сургучную печать и хлопнул бутылку дном об ладошку. Водка вспенилась, пробка вылетела и упала на запрещенное место. Потом дьякон жадно выпил из горлышка половину бутылки и, пряча её под стихарь, в карман своей рясы, торопливо зашагал к выходу, на амвон.

— Рцем, от всея души и от всего помышления нашего рцем! — басовито провозгласил он и, размахивая золотой лентой, вышел из алтаря.

Мне было смешно смотреть на жену чиновника, которая так обильно проливала слезы. И слабо зажжённая вера в бога тогда у меня потухла. Какое-то безразличие стало у меня ко всему, что происходило, в церкви. Я ходил петь не из любви к богу, а только потому, что платили. На эти деньги я покупал учебники, тетради. Брат на книжки не давал.

От Ксении Ивановны я слыхал:

— Певчие — это хор ангельский.

Я видел, что в этой доброй старушке живет безграничная вера. Она исправно, каждую субботу, ходила в церковь ко всенощной и становилась в темном уголке всегда на одно место.

— А батюшка отец Александр меня зовет «церковная задвижка», — сказал я.

— Как это? — спросила она, недоумевая.

— А так. Он спросил у меня урок по закону божию, я не ответил.

Он взял мой дневник и говорит: «Двойку бы надо поставить, а раз ты «церковная задвижка», так на тебе кол!» Единицу поставил.

Ксения Ивановна усмехнулась. Я спросил:

— А ангелы водку пьют?

— Что ты, дурачок ты этакий, да разве можно так говорить?!

— А певчие на спевках пьют, сквернословят, дерутся. И дьяков тоже. В алтаре пьёт — я видел, и тоже сквернословит пьяный.

— Давай, лучше помолчим об этом, — строго сказала мне Ксения Ивановна и замолчала.

Я больше не стал с ней разговаривать о церкви.

# КОЗЕЛ ВАСЬКА

Как-то раз в школу пришла нарядная женщина и привела с собой мальчика. Мы с любопытством рассматривали их. Она — в черной шляпе с длинной черной кисеей, спущенной концами до самых пят. Лицо её тоже в черной кисее. Она долго и печально о чем-то разговаривала с Петром Фотиевичем, а потом пожала ему руку и ушла, оставив своего сына в школе.

Его посадили за парту рядом со мной.

Он сел на самый край скамейки, пугливо и с отвращением отодвигаясь от меня. Это был рослый мальчик с белым пухлым лицом, немного вздернутым носом, розовыми губками, сложенными как будто в поцелуй, и пухлым подбородком. Мне казалось, что на скамейке сидит не мальчик, а одетая в куртку и брюки девушка из богатой семьи.

Он сидел, склонив немного набок тщательно причесанную русую голову.

Я еще не слыхал его голоса, но мне казалось, что и голос у него женский, не ребячий.

Пришел в класс Петр Фотиевич и сразу вызвал новичка к доске:

— Гладков!

Мой сосед встал и подошел к большой классной доске. Отвечал он смело, чертил на доске уверенно, но каждый раз торопливо вытирал свои розовые пухлые руки, запачканные мелом, о носовой платок. Сначала он хотел их вытереть о тряпку, которой мы стираем с доски, но испуганно отдернул руку и задрожал, точно увидел какое-то страшное животное.

— Внешний угол треугольника равен двум внутренним, с ним не смежным, — говорил он мягким гортанным голосом, закидывая горделиво голову назад.

После урока ко мне подошел Еремеев Егор — тяжелый, спокойный мальчик. Смотря на меня серыми глазами, он басовито проговорил;

— По-моему, Гладков твой — не он, не она, а оно.

Оказал и отошел от меня развалистой, тяжелой походкой.

Определение Еремеева вмиг облетело весь класс и навсегда пристало к новичку.

Мне было скучно сидеть с «Оно». Я несколько раз пытался вступить с ним в разговоры, но Гладков, вместо того чтобы мне отвечать, смотрел на меня, приподняв брови, молча отворачивался и отодвигался на край скамейки.

Мы решили самовольно сделать «перегруппировку сил».

Гладкова пересадили на место Денисова, а Денисов сел за одну парту со мной. Вместо Абрашки Когана, сидевшего позади меня, сел Егор.

Но Петр Фотиевич сразу зорким, памятливым глазом заметил нашу веселую группу и рассадил нас.

— Хотя и неудобно, но вашу теплую компанию я вынужден разрознить, — шутливо сказал он.

Мы печально расселись по своим местам. Рядом со мной опять сед «Оно», чужой и гордый.

Гладков был совершенным отщепенцем не только от нас, но и от всего класса.

Во время перемены он ходил один по залу. Всегда в его руках была тетрадка, свернутая трубочкой. Закинув немного назад свою голову, он в раздумье ходил взад и вперед, держа тетрадку возле пухлого подбородка. Потом садился на длинный пустой диван, но если кто-нибудь из учеников присаживался к нему, он испуганно вставал и снова ходил по залу. Когда мы протягивали ему руку, он гневно краснел и отворачивался, а мы говорили:

— Здравствуйте, господин Оно!

Рядом с Гладковым посадили Васю Дылдина, молчаливого, угрюмого мальчика. Дылдина мы уважали за его настойчивое желание учиться. А учиться ему было трудно. Он был сирота, такой же, как я, но его положение было горше. Дылдин не имел никого из родных. Часто, идя в школу, я видел его, торопливо бегущего с сумой. Прежде чем итти в школу, он ранешенько утром вставал и бегал по своей улице собирать милостыню.

Однажды ко мне подошел Денисов, взволнованный и возмущенный.

— Ленька, скр-кроем т-темную Абг-бг… Аб-рашке. Он Васю Дылдина нищим нн-азвал. Чем он в-виноват?!. А он его; «Н-н-нищий», го-говорит. Я ему в х-харю дам!

В этот день после уроков мы накинули на Абрашку чье-то пальто и наколотили его.

На другой день Николай Александрович потребовал наши дневники и поставил поведение «четыре».

То же самое случилось и с Гладковым. Когда его усадили за одну парту с Дылдиным, он, гордо закинув голову, сказал:

— Я с нищим рядом не сяду.

Вася обиженно посмотрел на нас и заплакал. В перемену к нему подошел Еремеев Егор и спокойно сказал:

— Ты, Васька, слюни-то не распускай, мы его проучим.

И проучили.

Была осень. Мы шумно высыпали из школы, подхватили Гладкова под руки и вежливо повели через площадь, где стояли

демидовские склады леса. Там, в бревнах, всегда были козы, а среди них ходил серый, с огромными рогами, беспризорный козел — «Васька — вшива борода».

— Отпустите меня, это же нахальство! — сопротивлялся Гладков.

Но его крепко держали Егор и я.

Егор внушительно говорил:

— Ты не ерепенься, пойдем с нами козла дразнить.

Дразнить козла было нашим любимым занятием.

Когда мы подходили к лесным сараям, ребята уже выгнали козла, на площадь, окружили его и кричали:

— Васька — вшива борода! Васька — вшива борода!

Козел мотал рогатой головой, повертывался и угрожающе смотрел на ребят. Мы смело шли на козла и кричали:

— Васька — вшива борода!

Козел помахивал хвостом, исподлобья смотрел на нас, зловеще мотая головой. Его прямые огромные рога грозно торчали на голове.

Вдруг он вздыбился, взревел и стремглав бросился в нашу сторону. Мы с Егором бросились бежать, а Гладков оторопело, беспомощно стоял на площади. Козел бежал прямо на него. Гладков опомнился, бросился бежать от козла, но козел скоро нагнал его и поддал рогами в зад. Гладков, как скошенный, упал. Мы хохотали.

А козел стоял над Гладковым, глядел на него и мотал головой. Его длинная серая борода тряслась. Гладков встал на четвереньки, но козел с разбегу снова ударил его в зад. Гладков растянулся. Тяжелый ранец далеко отскочил и лежал в стороне. Козел потряс хвостом и важно зашагал от Гладкова.

Еремеев улыбнулся:

— Ёмко бьет.

Но вдруг лицо его исказилось в страхе. Козел со всех ног летел на него. Я издали видел, как наш спокойный Егор растянулся от крепкого козлиного удара.

На другой день утром Егор подошел к «Оно» и внушительно спросил:

— Будешь еще нищим обзывать Ваську Дылдина? Будешь ябедничать?

Гладков молчал.

— А хорошо ли пахнет от Васьки? Ничего, мне тоже влетело! -

И, помолчав, добавил: — А наябедничаешь, — мы тебя опять к Ваське — вшивой бороде. Вот так и знай!

Гладков на этот раз не пожаловался.

Случай с козлом все-таки стал известен в учительской. Пришел Николай Александрович и потребовал наши дневники. У меня и так уже за поведение была четверка. Бояршинов крупной цифрой вписал «3» и сказал:

— Чтобы ты не подправил на пять, я тебе пропишу жирным почерком «три». С таким поведением тебя в училище держать не будут.

Я сделался смирней. И недели через две у меня в дневнике снова появилась пятерка.

# УНТЕР-ШЛЁП

В школе появился новый учитель, и в расписании появился новый урок — гимнастика. Мы с любопытством осматривали нового учителя. На нем был унтер-офицерский мундир с тремя лычками на красных погонах и с какими-то цифрами. На груди болталась потемневшая медаль, похожая на трешник, и значок за отличную стрельбу.

Когда мы шумно высыпали в зал на урок гимнастики, Петр Фотиевич объявил:

— Вот, ребята, это будет ваш учитель гимнастики.

Потом он что-то тихо сказал ему и ушел. Мы стояли и ждали. Учитель прошел возле нас, как бы рассматривал каждого в отдельности, потом отошел на середину зала, приподнял плечи и крикнул:

— Смирно-о! Вы что — не знаете, как делать «смирно»? Вот так!

Он вытянулся в струну, руки сделал по швам и закинул назад стриженую лобастую голову, причем его большие глуповатые глаза выпучились.

— Вот… Глазом не моргните. Ну-ка… Смирно-о!

Рядом со мной стоял Денисов. Его лицо съежилось, точно ссохлось. А учитель, важно расхаживая возле нас, объяснял, как нужно отдавать честь:

— Без головного убора честь под козырек делать нельзя.

— А вы с-с-сделали, — сказал Денисов.

— Ну, я учу вас, — так, примерно, будто в фуражке… Если кто-нибудь из вас идет по улице и навстречу идет ваш дядька, ну, примерно, я, вы должны сделать так!

Он сделал на ходу «под козырек» и важно прошел в коридор. Возвращаясь, он продолжал поучать нас:

— А если навстречу — генерал, нужно вставать во фрунт…

Учитель быстро повернулся, откинул одну ногу, с размаху поставил её к другой так, что у него цокнули каблуки, и замер, сделав руку «под козырек». Глаза его на этот раз еще больше выкатились.

— Смотреть в это время на генерала нужно так, чтобы он думал, что ты его своими глазами сожрать хочешь. Вот!.. А если вот я учу вас, а к вам приходит генерал, какой-нибудь генерал от инфантерии…

— А это что за инфантерия? — спросил я.

— Вам скомандовали: «Смирно!» Значит, никаких разговоров, генерал от инфантерии и крикнет: «Здорово, братцы!» Вы должны

в один голос: «Здравия желаем, ваше превосходительство!»

Последние слова он не проговорил, а пролаял сиповатым, пропитым голосом.

— Вот я сейчас выйду и крикну: «Здорово, братцы!» — и вы в один голос…

Он ушел в коридор и, широко, важно шагая, возвратился в класс.

— Здорово, братцы! — крикнул он.

Мы все сразу закричали:

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

Но я вдруг фыркнул и захохотал. Рядом со мной Денисов что-то бормотал. Мы уже кончали, а он продолжал бормотать;

— В-ваше бг-бг…

Но не кончил и конфузливо смолк.

Учитель подозрительно посмотрел на Денисова и, самодовольно улыбаясь, сказал:

— Я пока что еще не превосходительство, а господин унтер-офицер старшего оклада. Так и говорите.

Мы повторили этот урок.

Но меж собой его назвали «унтер-шлёп». И всегда, как только наш учитель появлялся в школе, кто-нибудь сообщал:

— Ребята, унтер-шлёп пришел.

Нам нравилось вставать во фронт, делать обороты, сдваивать ряды, но когда унтер-шлёп поучал нас своей «словесности», мы вяло отвечали и думали: «Поскорей бы кончился урок». А он старательно вбивал: «Его императорское величество… Его императорское высочество… Августейшая дочь его императорского величества…»

Я спросил унтер-шлёпа:

— А вы царя видали?

Я? Ну, конечно! Я же бывал часто в почетном карауле при дворце его императорского величества… Он же со мной всемилостивейше изволил беседовать и подарил мне рубль.

— А к-куда вы эт-т-у р-у-блевку девали? — спросил Денисов, улыбаясь.

— Не рублевку, а рубль! — строго сказал унтер. — Его императорское величество рублевки не дает, а рубли!

Он произнес это подчеркнуто и гордо.

Скоро наш унтер явился в школу пьяный. Нетвердой походкой он прошел по коридору и зашел к нам в класс. Мы чертили план своего класса. Углубленные в интересную работу, мы не заметили, как он вошел. Урок географии преподавал Алексей Иванович. Он задал нам работу и вышел.

Наш унтер вошел и, встав в дверях, крикнул:

— Смирно! Здорово, братцы!

В классе поднялся шум, мы захохотали, а Денисов подошел, сделал «под козырек» и с трудом проговорил:

— Зд-здыравия ж-желаем, в-ваше у-унтер…

Но унтер его перебил:

— Не имеешь права делать под козырек без головного убора! Мы вскочили с мест, окружили унтера и принялись дергать его за шинель. Еремеев стащил с него фуражку. Мы не заметили, как он отцепил с его фуражки кокарду и приделал золотого бумажного петушка от конфетки. Улыбаясь, он надел на него фуражку. Весь класс грохнул раскатистым хохотом.

А Егор вытянулся в струнку и чеканно проговорил:

— Здравия желаю, господин унтер-офицер старшего оклада Петухов!

— Н-нет, врёшь, — грозя пальцем, сказал унтер, — я не Петухов…

— Я… я Анкудинов…

«Унтер-шлёпа» вытянулся в струнку.

В эту минуту вошел Алексей Иванович. Унтер вытянулся в струнку и сделал «под козырек».

— Идите домой, — сказал Алексей Иванович, смотря с улыбкой на золотого петушка. — Зачем вы в таком виде пришли в

школу?

— Виноват! Виноват! У меня сегодня тезоименитство. Именинник я.

Алексей Иванович едва выпроводил именинника из класса, снял в коридоре с него фуражку и убрал петушка. Мы слышали потом, что Никифор поволок его к выходу, сердито говоря:

— Налил шары-то и лезешь в присутственное место. Пойдем… Ну, да айда! Ишь ты, ваше не переедешь!

Петушка мы у Алексея Ивановича украли и на другой день все-таки прицепили к фуражке унтера.

Смеясь, мы наблюдали в окно, как наш дядька важной походкой направлялся вдоль улицы.

В другой раз мы усаживались за парты и особенно сильно шумели. К нам вошел дядька. На этот раз он был трезвым. Поводя светло-русыми подкрученными усами, он строго крикнул:

— Эй, вы, галманы, смирно!

Мы на мгновенье смолкли и снова зашумели.

— Смирно! Что вы это орете, как галки? Что вы — дисциплину не знаете? — закричал еще более строго унтер.

— Сейчас, господин унтер-офицер, урок не ваш, — заявил Гладков.

— А чей?

— Петра Фотича.

— Ну, и что же! Что, я не имею права вам запретить орать? Нарушать тишину?… Смирно!..

Но мы не унимались. Архипка Двойников раскатисто расхохотался. Унтер подошел к нему, выдернул его за шиворот из-за парты и потащил в угол.

— Стой, стервец! Я вам покажу!.. Смирно!.. Вы что, гаденыши? Вам я говорю али нет?!

Вдруг вошел Петр Фотиевич. Удивленно смотря на унтера, он спросил:

— Вы что здесь?

— Шумят не на милость божию, Петр Фотич, — сказал унтер.

— Я спрашиваю, зачем вы здесь, в классе?

— А я пришел унять. Орут, обормоты, прямо безобразие!

— По-моему, это не ваше дело, господин Анкудинов.

— Как это? Чем орать, взяли бы лучше словесность повторяли. Словесность не знают. Я всем им по колу поставил.

Лицо Петра Фотиевича потемнело, а щека заиграла, точно он торопливо что-то раскусывал на зубах.

— Идите. Не мешайте заниматься, — строго сказал он.

— Нет, Петр Фотич, это все-таки непорядок. Никакой дисциплины в них нету. Орут, утланы.

— Я вас еще раз прошу — идите. Я здесь инспектор, наконец! И по всем делам обращайтесь ко мне.

Дядька направился к выходу. Приподняв плечи, он обиженно говорил на ходу:

— Шумят, и не имей права сказать. Нельзя же так! Дисциплина должна быть, а они орут, как оголтелые.

Вскоре дядьки Анкудинова в школе не стало. Вместо него пришел другой — черный строгий унтер. Я узнал в нем одного из жандармов, которые приходили к брату Павлу, когда он делал жандармскому полковнику рамочки.

# ДВА УРОКА

Раз Петр Фотиевич пришел в класс и сказал нам:

— Ребята, завтра пойдем на рудник. Всё, что вокруг делается, вы должны знать: откуда что берется, кто всем пользуется и как пользуется.

На другой день мы пошли к железному руднику. Перед нами открылась глубокая ступенчатая яма рудника. Сотни лошадей, запряженных в двухколесные тележки-таратайки, спускались вниз, на самое дно рудника. На дне воронки люди и лошади казались игрушечными. К яме примыкала гора Высокая. С противоположной кромки рудничной ямы она была видна, как на ладони.

— Вот гора, — указал Петр Фотиевич на гору Высокую, — в ней богатейшее месторождение железняка. И железняк, ребята, магнитный. А знаете, кто владеет этой горой?

Мы вопросительно посмотрели на него.

— Владеет этим рудником и горой князь Демидов. Вот посмотрите, сколько на него работает коней и людей!

В глубине ямы пестрели рубахи рабочих и двигались тысячи таратаек, нагруженных рудой. Помолчав немного, Петр Фотиевич как-то подчеркнуто сказал:

— Вот видите, ребята, какой Демидов богатый!

В другой раз учитель повел нас к домне. Охваченные изумлением и восторгом, мы смотрели, как из доменной печи льется чугун. Точно густая кипящая кровь выбегала по канавке от печи и растекалась широко по доменному двору в сделанные в земле корыта — изложницы.

Вдали эта лавина искрилась золотом и ползла, как гусеница, торопливо ища выход со двора. К ней подскакивал молодой рабочий и втыкал железную лопату в канавку. Огненный поток останавливался и торопливо сворачивал в другую канавку.

В стороне, в широких трубах, протестующе гудела, бунтовала неведомая мне сила, закованная в броню железа. А чугун, как кровь земли, лился из огромной раны, пробитой в теле домны.

Мы вышли молчаливые, подавленные величием зрелища. Петр Фотиевич задумчиво говорил:

— Вот какие чудеса творит человеческий труд, ребята, и всё это делают рабочие.

В другой раз мы пошли в мартен. Учитель хотел показать нам весь путь — от месторождения железа до высшей формы его обработки. Там тоже золотой струей тек металл из огромного ковша в чугунные формы.

В прокатном цехе мы видели, как раскаленные слитки легко летели в валы, вытягивались и покорно ложились лентами на чугунный иол.

Мы уходили домой молчаливые, осторожно ступая, точно боясь обронить всё то, что получили на заводе. В сознании нарастало что-то смутное, волнующее и протестующее. Казалось, что в мозг брошена горсть пороха и недостает спички, которая взорвала бы этот порох.

Вскоре после этого на уроке Денисов поднял руку и спросил:

— П-п… Петр Фотич, а как в земле выр-ыр-родилось железо?

Этот вопрос точно оглушил весь класс. Легкий шум, тихая возня и покашливание сразу прекратились. Перед нами стоял учитель и с ласковой улыбкой говорил:

— Как родилось железо? Это, ребята, большой вопрос. Нужно разобрать часть геологии.

— Расскажите, Петр Фотич, расскажите хоть маленько! — полился к учителю бурный поток голосов.

И вот он легко и просто рассказал нам, как родилась наша земля, как она была раскалена, подобно солнцу, и какой огромный, не исчислимый годами промежуток времени потребовался, чтобы она остыла и чтобы на ней возникла жизнь.

Я вспомнил попа, который нам рассказывал: «Да будет свет», сказал бог. И стал свет».

— Р-р-ребята! — сказал после урока Денисов, шагая рядом с нами и держась за ремень ранца. — К-как быть-то?

Его маленькие глазки в темнорыжих ресницах странно поблескивали.

Мы молчали и ждали, что дальше скажет Денисов. А он, подумав, продолжал:

— П-п-оп, бгбг-батька г-говорит так, а Фф… Фотич — иначе. Где п-п-равда?

— У Фотича! — тяжеловесно сказал Егор.

Я согласился с Егором.

— П-по м-моему, тоже, а бг-батька врет, г-голову м-морочит нам, — сказал Денисов.

На другой день на уроке закона божия я не вытерпел и поднял руку. Отец Александр угрюмо посмотрел на меня и спросил:

— Чего тебе?

— Батюшка, — спросил я, — у Адама было два сына: Каин и Авель. Каин убил Авеля…

— Да, у него бог жертву не принял, — дружелюбно пояснил поп. — Ну?

— Ну, Каин-то ведь ушел в другую страну?

— Да.

— Так вот и непонятно, батюшка.

— Чего? — тревожно спросил поп.

— Там от Каина пошел род нечестивый. А он на ком там женился?

— Как «на ком»? — прихмурив брови, спросил поп и встал со стула.

— Так ведь людей на земле было только четверо: Адам, Ева, Каин да Сим.

— Не ври, была еще дочь — Лина.

— Так на сестре, что ли?

— Как это можно?! На сестре! Ты что — татарин? Откуда у тебя мыслишки эти завелись?

Я молчал.

— Кто тебе это внушил?

— Никто не внушал, сам додумался.

— Сам?!

Поп грозно начал подвигаться ко мне. Кто-то хихикнул.

— Что там за смех? Ты, Денисов, что ржешь, над чем?

И, подойдя ко мне, поп зловеще спросил:

— Значит, сам додумался? А ты знаешь: за эти безбожные, басурманские мысли людей раньше на кол сажали! Тебе нужно знать, на ком Каин женился? Тебе жаль, что ты у него на свадьбе не был?…

Отец Александр схватил меня и принялся крепко бить по темени, приговаривая:

— Вот… вот тебе, любезный! Не нашего ума с тобой дело это! Вот, басурман ты этакий!

Мне казалось, будто череп мой разбивали кирпичом. В глазах вспыхивали тусклые огоньки. Ряса попа шуршала над моей головой. Потом он схватил меня за шиворот и потащил к дверям. Я чувствовал, что ворот мой натянулся, пуговки от куртки отлетели, а горло сжималось. Мне было тяжело дышать.

Поп открыл двери и вышвырнул меня в коридор. Я упал на четвереньки. Сдерживая рыдания, я ушел в раздевалку и там просидел до окончания урока.

Домой пришел возбужденный. Вынимая учебники, я с остервенением бросил книжку закона божия — катехизис — в угол.

С этих пор весь класс выполнял уроки попа хуже. Добросовестными были только «Оно» и Коган.

Когана поп всегда ставил в пример:

— Вот смотрите: он — еврей, а учит наш Ветхий завет, а вы?…

В другой раз отец Александр избил меня еще сильнее за то, что я спросил его, как попали люди в Америку, когда думали, что за океаном конец света. С этих пор, входя в класс, тыча указательным пальцем в мою сторону и злобно сверкая глазами, поп говорил мне:

— Вон!

Я забирал книжки и уходил. Я чувствовал, что из школы меня скоро выгонят…

Не оставался безнаказанным и поп. Несколько раз вечером, проходя по улице, где жил отец Александр, я подбирал камень и с наслаждением пускал его в окно второго этажа. Стекло звякало и вываливалось, по комнатам перебегал огонь, торопливо раскрывались двери парадного крыльца. Но я, пользуясь темнотой, убегал в узкий переулок.

# МАРУСЯ

Дома у нас произошла перемена. Мы переехали в родительский дом. Я часто слышал от Маруси:

— Хм! Какой ты муж, когда не в состоянии купить своей жене модное манто?

Или:

— У смотрительши приисков замечательный браслет, а у меня…

Она плакала и упрекала:

— Я думала, что ты не рабочий, а оказалось… Ты, видно, хочешь и меня сделать рабочей бабой?

Александр уговаривал:

— Ну, Марусенька, я всё для тебя сделаю, всё, только ты…

Я думал, что было бы лучше, если бы Александр женился на другой. Я теперь не узнавал прежнего Большака — веселого, доброго. Мне казалось, что это совершенно другой человек — чужой, не наш. Прежний Большак точно ушел в солдаты и не возвращался. Я не мог себе представить, почему Александр вдруг переродился. Но однажды Павел в разговоре о Большаке ясно определил:

— Какого зверя в Александра посадила солдатчина-то! А эта мадонна еще больше будит в нем зверя!

Я чаще и чаще стал слышать, что Марусю зовут «мадонна». Это насмешливое прозвище ей дали потому, что она так одевалась. Шляпа на ней была огромных размеров, её украшали перо, цветы и белая газовая вуаль. К волосам прицеплялись какие-то разноцветные подвесочки. На лице её, всегда густо напудренном, поблескивали маленькие глуповатые глазенки. Костюм тоже был странный: бордовое или голубое манто с длинным капюшоном, с приколотыми на плечах бантиками. Однажды я шел с ней по улице и повстречал дядю Федю. Он поманил меня пальцем, я подошел к нему, а он, улыбаясь, спросил:

— Эта новая-то сноха, мадонна-то?

— Эта.

— Гм… — задумчиво смотря вслед Марусе, промычал дядя и, улыбнувшись озорноватой улыбкой, проговорил: — Ты скажи ей, чтобы она для красы меня еще на шляпу-то посадила.

И жизнь у Александра с Марусей текла неровно, какими-то толчками. Иногда с неделю-две всё идет хорошо. Они друг к другу ласковы, внимательны, идут по улице под руку, дружненько. А иной раз приходили шумные, крикливые. И тогда

Ксения Ивановна со вздохом говорила в кухне:

— Господи, на нашей Машеньке опять черти поехали.

Одевшись, она уходила ночевать к Цветковым, а я оставался дома; сжатый страхом, что скандал продлится весь вечер и всю ночь.

Однажды, укладываясь спать, Маруся что-то сердито ворчала. Слов её нельзя было разобрать. Я слышал беспрерывное, злое:

«Ду-ду-ду…»

Александр молчал. Я долго не мог уснуть.

Разбудил меня отчаянный крик Маруси. Я, приподняв голову, прислушался к звукам в соседней комнате. Резкий свист ремня прорезал воздух. Я задрожал. Слышу, что Александр стегает Марусю своим сыромятным толстым ремнем и, задыхаясь, приговаривает:

— Вот… вот тебе!

Я закутался с головой в одеяло и через несколько времени прислушался. Тихо… А потом снова началась злобная, глухая воркотня Маруси…

Стегать он её принимался в эту ночь не один раз.

Не дожидаясь рассвета, я встал, тихонько оделся и убежал к Павлу.

В другой раз Александр, доведенный до бешенства Марусей, схватил берданку и, решительно шагая, ушел в баню. Маруся торопливо выбежала за ним. Я стоял у раскрытого окна и в страхе ожидал, что вот сейчас грянет в бане выстрел и Александр будет мертвый. В предбаннике действительно раздался выстрел. Глухой, жуткий. Я вздрогнул не от выстрела, а от мысли, что Александр застрелился. Но, спустя минуту, из бани вышла Маруся, а брат, держа в руке ружье, шел за нею и злобно подгонял её сзади пинками.

Было смешно и жутко наблюдать за жизнью в нашем доме. Обычно после таких бурь наступали мирные дни. Маруся и Александр ухаживали друг за другом, нежничали, а я ждал, что вот на Машеньке скоро опять «поедут черти». Ждать долго не приходилось. С вечера начиналась ссора. Ксения Ивановна опять уходила к Цветковым, говоря:

— Пойду. Наши опять хотят сегодня всенощную служить.

Я сказал ей, что боюсь, что Александр застрелится или удавится.

— Ничего не сделает, — успокаивающе проговорила Ксения Ивановна. — Кто говорит, тот никогда ничего не сделает. Так, для острастки это он.

И я уже более спокойно стал смотреть на выходки Александра.

Однажды утром я обнаружил во дворе подвешенную к пожарной лестнице петлю, сделанную из полотенца.

А раз, придя из школы, застал Марусю в слезах. Я уже привык к её плачу, к её крикам и, не обращая внимания, отломил кусок хлеба, насолил круто и принялся есть. Она, красная, с опухшими глазами, подошла и, вырвав у меня хлеб, сухо проговорила:

— Успеешь… Помоги мне вниз попасть.

— Зачем?

— Александр там заперся.

Я догадался: значит, опять ушел давиться. Заглянул в окна подвального помещения — они были наглухо завешены. Я вспомнил, что в комнате есть вторая западня. Побежал туда, отодвинул стул, — западня была забита гвоздями. Я принес топор и открыл западню.

— Что там? — опасливо спросила меня Маруся.

Я заглянул в подвальное помещение и… вдруг замер в ужасе. У стойки, подпирающей среднюю балку, стоял Александр. На шее у него была петля, сделанная из лыковой веревки — лычаги, — привязанная к большому гвоздю выше головы. Я вскрикнул и закрыл глаза. Потом, не помня себя, соскочил вниз. Маруся тоже побежала за мной. Лицо Александра было бледное, как восковое, глаза спокойно закрыты, губы крепко стиснуты. Я потрогал его за руку. Она упала, как плеть. Маруся опустилась на колени и, обняв колени Александра, дико закричала. А я подкатил чурбан, вскочил на него и, вооружившись топором, рубанул по лычаге. Она оборвалась, и Александр, как скошенный, свалился на пол. Я припал ухом к его груди и услышал ровное, чуть слышное дыхание и отчетливое биение сердца.

— Живой он, — сказал я и принялся его трясти: — Саша, вставай!

И вдруг «удавленник» вскочил на ноги, стащил с шеи петлю и, размахнувшись, хотел отхлестать ею Марусю, но веревка прошлась по мне.

— Издохнуть-то не дадите! — крикнул он и вылез из подвала.

Домой брат стал приходить пьяный, развязный и дерзкий. Я никогда его так не боялся, как сейчас Особенно с тех пор, как он раз ударил меня зонтом только за то, что на вопрос, о чем я думаю, я ответил: «Ни о чем не думаю».

Мне показалось, что рука моя от удара отломится, но я сдержался и не вскрикнул. Это его еще более, должно быть, взбесило. Он схватил меня за шиворот, вытащил в огород и прикрутил ремнем к столбу.

Глаза его были налиты кровью, как у сумасшедшего — Привязав меня, он снова спросил:

— О чем ты думаешь, дармоед?

И, схватив черен от метелки, хотел со всего размаху хлестнуть меня, но в это время из ворот выскочил сосед, высокий темнорусый Тараканов, схватил брата и закричал:

— Ты что, подлая рожа, истязаешь мальчишку? Я тебя посажу за это!

Александр ушел, красный, злобный, а Тараканов отвязал меня и увел к себе.

Вскоре жизнь в доме изменилась. У нас стали появляться новые, дорогие вещи. В простенках встали два больших зеркала. Резные венцы их, прижатые низким потолком, склонились, точно зеркала пригнули свои головы. Появился гарнитур мягкой мебели с круглым столом, покрытым ковровой скатертью. А Маруся каждый день надевала новые, богатые платья, на голову прикалывала страусовое перо.

Когда приходил Александр домой, она спрашивала:

— Идёт мне этот костюм, Шурик?

Александр с восторгом отвечал:

— Ну, как нейдёт, моя милая!

Иногда меня посылали на базарную площадь за извозчиком, и Маруся строго наказывала:

— Извозчика бери, чтобы санки были на ножках.

Я бежал на базарную площадь и выбирал извозчика с санями на ножках.

Но вместе с богатством пришла тревога. В дом стали приходить незнакомые люди. Александр затворял двери и подолгу шопотом беседовал с ними, запершись в своей комнате. Я несколько раз слыхал, как звякали счеты, а потом шуршали кредитки и звенели серебряные деньги.

— Ты, Саша, теперь где служишь? — спросил я брата однажды. Он вдруг вспыхнул и, подозрительно смотря на меня, хмуро спросил:

— А тебе для чего это?

— Так.

Я узнал, что брата перевели служить помощником кассира главной кассы демидовского завода, и думал, что он стал получать большое жалование.

Но вдруг дела брата изменились. Поздним вечером в дом приехала полиция. Вещи все описали, увезли. Дом опустел.

Александр, так же как и Павел когда-то, стал спускаться в подвальное помещение и работать. Он делал шкафы, этажерки.

Только Павел работал с песней и в песне забывал свое горе и нужду. На каждый трудовой грош он смотрел радостно, особенно, когда на столе лежала коврига хлеба. Я знал, что от этой ковриги

и мне тоже попадет ломоть.

В доме Александра поселилось молчание. У Александра под верстаком, в стружках, всегда стояла бутылка водки. Он молча работал, изредка глотал из горлышка, а потом заедал мятой.

Братья всё делали друг от друга тайком. И в меня вошла эта скрытность. Получая деньги за пение в церкви, я стал прятать их или тратить на учебники, на книжки, на хлеб. Брат злобно молчал. Иногда он говорил:

— Жрать садишься, а деньги себе берешь.

В другой раз он мне предложил:

— Вот что, милейший, довольно тебе шляться в школу. Всё равно от этого толку не будет… Чего смотришь? О чем ты думаешь? Ученым хочешь быть? Не будешь! Айда-ка на завод работать.

Я заплакал.

Мною был пройден трудный путь. Я уже видел впереди конец своего учения. И не знал, как покину школу, как расстанусь с Петром Фотиевичем и Алексеем Ивановичем. Я к ним привык. В них я чувствовал неиссякаемый источник знаний, который лился так же, как из огненной домны льется красная кровь и превращается в рельсы, провода и машины. Я чувствовал, что в мое сознание брошены зерна я что они, как весенним теплым утром, проросли сильными побегами. Проросли и потянулись к свету, к солнцу.

На другое утро я пришел пораньше в школу и заглянул в учительскую. Там сидел Петр Фотиевич один, что-то писал. Я робко вошел и начал ему рассказывать, что за эти дни меня волновало… Я не смог закончить свой рассказ и разревелся.

Учитель заботливо подошел ко мне, усадил и, взяв со стола большую книгу, задумался. Его серые глаза были устремлены куда-то в окно, на улицу, в серый зимний день. Щека его, как обычно, бугрилась. Потом он укоризненно сказал:

— Ты хорошо учишься, но лучше того шалишь, озорничаешь. По твоему поведению давно тебя нужно исключить. Это вот и мешает. — Он говорил, точно обдумывал каждое слово. — С батюшкой у тебя не хорошо… Если бы ты был во всех отношениях… можно бы тебе выхлопотать стипендию. Ну, хорошо, — решительно сказал он, — иди… Успокойся и учись… Попробуем.

Через несколько дней брата Александра посадили в тюрьму. В дом пустили квартирантов, а я ушел жить с Ксенией Ивановной в дом Цветкова.

В цветковском доме мне было весело. Мы поселились в заднем доме, под голубятней. Здесь же жили Денисовы. И я

теперь со своим другом Ванюшкой был связан и в школе и дома.

Обширный цветковский дом, окруженный, как хороводом, строениями, был шумен. С нами были Мишка Цветков, Васютка Денисов, брат Ваньки.

Ранним утром мы гурьбой отправлялись в школу, а вечером так же возвращались.

# ГОНКИ

Любимым занятием нашим была езда на подводах. Возвращаясь из школы домой, мы подкарауливали ломовых извозчиков, которые ездили с базара на товарный двор порожняком. Обычно каждый извозчик работал на двух лошадях, запряженных в широкие розвальни. На передней он ехал сам, а задняя шла в поводу. Мы вскакивали на розвальни задней лошади и отправлялись, посвистывая, поухивая. Извозчики на нас не обращали внимания. Стоя на передних дровнях, они равнодушно оглядывались на нас, погоняя лошадей. Мы доезжали почти до самого дома, довольные, что прокатились.

Но раз катанье это нам обошлось дорого. Мы трое присели на задние розвальни и наблюдали за извозчиком, как он посмотрит на непрошеных пассажиров. Но извозчик — молодой, здоровый, краснолицый мужчина — равнодушно посмотрел на нас и будто еще улыбнулся.

— Н-н-ничего, ребята, з-з-значит, д-доедем, — успокоенно сказал Ванюшка Денисов и пробрался к передку дровней.

Лошади шли крупной рысью, и нам нравилась быстрая езда. Но, не доезжая квартала до места, где нам нужно было слезать, извозчик встал на своих дровнях, лихо закрутил над головой вожжами и крикнул. Кони помчались галопом. От неожиданного толчка Мишка Цветков кубарем вылетел из дровней.

— В-вот… олух! — весело заметил Денисов. — Не мог ус-усидеть.

Кони мчались. Мы, в восторге от быстрой езды, весело обменивались замечаниями:

— О, здорово!

— А н-наша л-лошадь кра-красивей бежит.

— А как, — спросил я, — мы слезем?

— С-сбавит, — уверенно сказал Денисов. Но кони ход не сбавляли.

— Ванька, скачем, — предложил я.

— Н-ни черта… Сиди, знай.

Извозчик снова закрутил вожжами. Кони, прижав уши, мчались что есть сил. Извозчик неожиданно для нас свернул в переулок, в противоположную от нашей квартиры сторону.

Дровни раскатились, ударились о столбик. Денисов качнулся и сел. Держась за дровни, он с досадой проговорил:

— Во посадил редьку… Чуть яз-зык н-не откусил! К-куда это он по-погнал?

Из-под копыт лошадей в нас летели жесткие комья снега.

Денисов загораживался рукой. Бок, плечо и шапка его обленились снегом. Он сплюнул: в рот попал комок снега. Извозчик оглянулся на нас. На лице его была озорная улыбка. Он то и дело взмахивал вожжами, покрикивал. Мы со страхом смотрели вперед.

Ванька замахал рукой извозчику и крикнул:

— Д-дядя, ос-останови!..

Но дядя не остановился.

— А-лёшка, скачи!.. — крикнул Денисов. — С-слезай! А то он н-нас ув-езет к-к чертям н-на ку-ку-кулички.

Я нацелился и прыгнул. Мне показалось, что земля завертелась. Я ткнулся в сумет снега к забору, чувствуя, что в рот, в нос, в уши мне лезет снег. Но быстро вскочил на ноги, смотря вслед удаляющемуся товарищу. Сквозь серую дымку снежной пыли мне показалось, что Денисов машет руками и что-то кричит. Но он скрылся за поворотом.

Я встаю и отряхиваюсь. Снег набился мне за воротник. Он тает и холодными, острыми струйками стекает вниз по голой спине. Сумка с книжками валяется в стороне. Вижу — идет Денисов. Он припадает на одну ногу, хромает. Он весь в снегу, у шинели правая пола почта напрочь оторвана.

— В-вот п-прокатились… — держа оторванную полу шинели в руке, сказал Денисов.

На щеке и носу его кровь. Я спросил его, что это значит.

— Я по дороге м-мордой п-проехал, — вытираясь рукавом, пояснил Денисов.

— А я хорошо соскочил, — сказал я, хотя чувствовал, что мои коленки саднят.

— Я в-видел… Хребет не с-с-сломал?…

У меня вдруг заныло сердце: я увидал, что у моего сапога оторвался каблук. Он болтался на подошве, а когда я пошел, он захлопал мне по пятке.

— Всё ни-чего, за шинель мне п-попадет, — печально рассматривая оторванную полу шинели, с досадой говорил Денисов. — П-прокатились… Нет, бг-бг-больше — к чорту!

Дома я слышал, как мать Денисова встретила своего сына:

— Ванька, что это?… Господи!.. На тебе одежа, как на огне, горит.

О своем каблуке я не сказал Ксении Ивановне. В этот же вечер подвязал его мочалиной и пошел к родительскому дому, к дяде Феде. Он встретил меня обычными словами:

— Ну, что, Олешка?

— Вот, оторвал каблук у сапога.

— Каблук? Где это тебе помогло?… Ну, снимай, я притачаю. Дядя Федя сел на свое обычное место и принялся починять мне

сапог, говоря со вздохом:

— Ох, Олешка, Олешка! Видно, тебе на голове хоть кол теши, ты одно свое — озорничаешь…

Любили мы из школы заходить также на заводский пруд. Мы там гонялись друг за другом.

Раз почти половина класса пришла смотреть наши гонки. Я должен был в этот день гоняться с Егором Еремеевым.

— Т-тяжел ты бг-бг-будешь, Егор, с Лешкой гоняться, — сказал ему Денисов.

— Н-ну! — презрительно ответил Егор.

День стоял серый, теплый. С неба падали редкие легкие пушинки снега. Мне во что бы то ни стало хотелось обогнать Еремеева, так как за нас, за обоих, ребята заложили по карандашу и по два перышка. Карандаши и перья должны были пойти в пользу победителя.

Еремеев спокойно сел на снег и разулся. Он был в крепких шерстяных чулках. На мне же были серые валенки, надетые на босу ногу,

А ты, Олешка, как?… Разуешься? — спросил меня Еремеев.

Я без чулок.

Ну, так простись с карандашом и с перьями.

Гоняться условились на один круг, в одну версту. Я сбросил с себя шубенку, шапку и приготовился.

Всё — по чину. Выбрали судей. Побежали. Долгое время бежали рядом.

Я посмотрел на Егора. Щеки его еще больше надулись, он искоса поглядел на меня, серьезный, деловитый, и, тяжело отдуваясь, сказал:

— Намочу я тебе…

И стал меня обгонять. Мне тяжело было бежать в валенках. Мы пробежали уже половину круга. Я слышал голоса ребят:

Егор далеко ушел.

Не нагнать Алешке.

Я сбросил валенки, прижал их подмышкой и легко» почти не касаясь ногами дороги, помчался вслед за Егором.

— А ну, шевелись, Егорушка! — крикнул ему.

Он испуганно, тяжело дыша» покосился на меня. Я быстро оставил его позади…

*Я быстро оставил его позади.*

— Да ты босиком-то!.. — закричал он.

Но я промолчал; я слыхал, что во время бега говорить не надо. Ребята цепью стояли поперек дороги. Денисов кричал, взмахивая моей сумкой:

— На-аша берет!.. Лешка, н-нажми!

И я нажал. Ноги мои точно обжигало снегом. Егор пришел к месту медленным шагом, тяжело переводя дыхание. Мы победоносно пошли домой. В сумке у меня лежали новый карандаш и два перышка.

# ГИМНАСТИКА

С той поры, как мы с Ксенией Ивановной поселились в доме Цветкова, я ежедневно наблюдаю за Иваном Михайловичем и узнаю его ближе. С раннего утра он ходит по двору в своем обычном костюме. Его красная турецкая феска ярким пятном плавает на сером фоне двора. Он часто достает свою табакерку, нюхает и, подумав, идет вдоль двора, напевая: «Трум-тум-тум-бум-бум-бум…» Хозяйски окидывает двор, лезет на голубятню и, слышно, там перекликается с соседом, тоже голубятником:

— Федька, ты у меня чубарую голубку загнал?

— Загнал! — кричит Федька.

— Ты мне её отдай.

Слышно, как он возится на голубятне, бегает, ухает; должно быть, опять ястреб напал на голубей.

Ползая однажды по крыше со шнурком, он долго что-то измерял и подсчитывал.

Я спросил:

— Вы чего это, Иван Михайлыч, делаете?

— Спрос. А кто спросит, того черти с печки сбросят.

Он понюхал табак, сидя верхом на коньке крыши, и задумчиво проговорил:

— Ты вот подсчитай мне, сколько нужно заплатить маляру за то, чтобы он окрасил мне крышу. По двадцать копеек за квадратный аршин.

Я залез на крышу. Она была шатром, на четыре ската. Я обмерил её и тут же мелом подсчитал:

— Сто сорок четыре квадратных аршина.

Он подумал и сказал:

— Врёшь, меньше.

— Нет, — твердо сказал я.

— Врёшь!.. Со мной не спорь… Со мной никто не спорит.

Весь этот день он ползал по крыше. Слез с неё с разорванной штаниной и уверенно определил:

— Сто двадцать с четвертью.

Но пришел маляр и подтвердил мою цифру. Цветков сказал:

Правильно, я так же подсчитал. А увидев меня вечером, сказал мне:

— Побил ты меня. Молодец!

В наши ребячьи дела он всегда вмешивался. В сарае мы повесили трапецию и здесь изображали цирковых акробатов. Я умел делать солдатиков, лягушек, подвешиваться на коленках. Смотря на нас и понюхивая табак, Цветков одобряюще говорил:

— Молодцы! Это развитие силы.

Но ему было досадно, что его Мишка не умеет упражняться на трапеции. Мишка хватался за палку трапеции, вскидывал ноги, а Цветков помогал ему, опасаясь, чтобы Мишка не упал.

— Ну… Не так, дурак… Вот так… Не так… Зацепляйся ногой. Ну, дурак!

Мишка горячился. Его косые глаза округлялись, он краснел, но у него не выходило. Однажды Цветков не вытерпел, схватился за палку и сердито сказал Мишке:

— Смотри, болван, я сделаю.

Мы замерли, а Цветков бойко взметнул ногами, чтобы закинуть их на палку. О ноги спала калоша и улетела в угол. Рубаха завернулась, обнажая напряженное тело. Зацепившись ногами за палку, он повис вниз головой. Кряхтя, он хотел взобраться на палку и сесть, но руки оборвались, и он мешком свалился с трапеции на землю, устланную сеном. Мы перепугались. Мишка захохотал. А Цветков, тяжело вставая, конфузливо заявил:

— Чемодан у меня тяжелый, а то бы я лучше вас сделал.

И отошел, будто не ушибся, даже запел, пощелкивая в табакерку:

— Трум-тум-бум-бум…

Однажды в комнату торопливо вбежала Ксения Ивановна и почти плачущим голосом крикнула:

— Олешенька, собирай всё!.. Мы горим!..

Я выбежал во двор. В углу, из-под конька деревянной крыши сарая, торопливо клубились черные кудри дыма, высовывался острый язык огня, облизывал край стропил. В колодце звякали ведра. Незнакомые женщины таскали на коромыслах воду к сараю. Бегали люди, кричали. Где-то трещали доски, стучали топоры и глухо потрескивало что-то под крышей сарая, точно там кто-то ожесточенно грыз дерево острыми зубами.

В комнате Ксения Ивановна увязывала в простыни пожитки. Я решил, что пожар далеко.

— Не надо, Ксения Ивановна, не дойдёт до нас.

Она посмотрела на меня, схватила с божницы икону, вышла с ней и встала, держа её на руке.

Цветков забежал на голубятню, выгнал из неё голубей, а самых, очевидно, дорогих посадил в решето, под сетку, и ходил в густой толпе людей возле пожара, как безумец, не обращая внимания на то, что из его дома в лихорадочной поспешности вытаскивали сундуки и мебель.

— Гори мои дома, гори всё, но не гори мои голуби, — бормотал Цветков.

Пожару не дали разгореться. Прибежавшие с железнодорожной станции рабочие затушили пожар.

# НА ЭКЗАМЕНЕ

Солнце весело забирало высоту в голубеющем небе весны. Оно уже перешагнуло через Голый Камень и закатывалось за горой Высокой. Чернолесье пока еще не оделось, но сосны уже закудрявились.

Широкий пруд местами уже вскрылся. Ветер, гоня по нему зеленоватые иглы льда, сгруживал их у берегов, и волны играли ими, шурша, как битым стеклом.

Мне легко и весело. Я залезаю с книжкой на террасу голубятни, растягиваюсь на ней и греюсь на солнце. Читать не хочется. Хочется смотреть в небо. Там клубятся белые облака, а меж ними — неизмеримая синяя глубина.

Приближались экзамены. В мыслях всё чаще и чаще вставал отец Александр, его тихое и злобное предупреждение: «Я тебя, басурман, не допущу до экзамена».

Мне страшно. Что, если я не выдержу экзамен по закону божию?

Я торопливо переметываю ненавистную мне книжку «Новый завет». Всматриваюсь в заголовки: «Нагорная проповедь», «Притча о мытаре и фарисее», «Воскрешение Лазаря». Мне трудно уместить в памяти все эти скучные рассказы.

Пришел Денисов. В руках его — толстая книга.

— Чего, Л-ленька, зубришь?

— Зубрю.

— Я в-вызу-уб-брил.

— Ответишь?

— Д-думаю… ув-важить дурака.

Он улыбнулся мне и сообщил:

— На лето п-пойду работать в депо.

— А я — в ковальню.

— В-в депо лучше.

— Чем?

— Т-там машина, п-паровозы.

Но Денисов сейчас тоже занят мыслью об экзаменах. Лицо его озабочено.

— А я вот ч-чувствую, ч-что меня б-батька з-зарежет. У-хороший бы б-билет в-взять… — И решительно заявил: — Н-не выдержу эк-кза-амена — уеду.

— Куда?

— П-путешествовать. Вот, посмотри-ка э-эту книгу — «Таинственный остров» Жюль Верна. Ты н-не читал?… Пр-прочитай. Н-на воздушном шаре ул-летели… П-пять человек… У

них т-тоже м-мальчишка, Г-герберт, бг-бг-был. Х-хороший. А-а с-собака Т-топ… Айда?! Д-до Черного м-моря зайцем д-доедем, а-а там — н-на корабль. Пойдем?

Я молчал, а он укоризненно спросил:

— Т-трусишь? Я в-всё равно уйду…

Экзамены начались в половине мая. Мы хорошо разделались с историей, с естествознанием, с геометрией. А по русскому языку меня Николай Александрович даже похвалил за сочинение:

— Ты хорошо написал, если только не списал из какой-нибудь книжки. Я хотел тебе пять поставить, но так как уж больно хорошо, то я тебе поставил три с плюсом.

— Почему? — спросил я.

— Потому что я думаю, что ты где-нибудь слизал.

Похвала эта меня обидела до слез.

Мы с замиранием сердца пришли на последний экзамен — закон божий. Поп явился в новой голубой шелковой рясе, а с ним — седенький, высохший от долголетней жизни, благочинный. Перед нами на столе были раскинуты билеты. В них были номера глав, которые мы должны рассказывать.

Меня вызвали вторым. Я смело схватил билет и подал отцу Александру. Он посмотрел на меня исподлобья и строго сказал:

— Ну, рассказывай о страстях господних.

Я знал это место и начал твердо рассказывать. Отец благочинный улыбался и ждал чего-то. Его впалые губы шевелились, и серый клок реденькой бороды качался.

— Завеса во храме разорвалась не сверху донизу, а снизу доверху, — поправил он меня.

— Доверху, — сказал я.

— Как разорвалась-то? — спросил отец Александр.

— Надвое.

— Ну, как надвое: как рубаха, что ли? Вот так — на две половины?

Он поднял подол своей рясы и показал, будто хочет её разорвать.

— Нет, — сказал я. — Две завесы стало.

— Ага-а! — самодовольно поглаживая бороду, протянул благочинный. — Тонкая завеса разорвалась надвое.

Отец Александр строго мне сказал:

— Иди!

Вечером я пришел к Денисову. Он грустно сидел за столом и смотрел в окно.

— Ты чего? — спросил я.

— Н-на-поролся.

— На чем?

— Н-на п-пире в К-кане Га-галилейской.

— Я тоже, — сказал я.

— Н-на чем?

— А на завесе-то!

На следующий день стало известно, что Ванюшка Денисов исчез из дому.

Цветков, торопливо понюхивая табак, успокаивал его мать:

— А я говорю — никуда к чорту не денется. Полиция поймает и приведет.

* * *

Через неделю я узнал, что меня перевели в шестой класс.

— А в стипендии тебе отказали, — сообщил мне Петр Фотиевич.

— Всё равно учиться мне больше не на что, и я думаю пойти работать, — сказал я.

— Жаль… Так и не кончишь?

Учитель задумался, потом как-то решительно сказал:

— Ну, что ж, хорошо, — поработай лето, а там увидим.

Я шел из школы легко и бодро. Передо мной открылся новый путь: работать и учиться.

Моя веселая жизнь у Цветкова оборвалась. О ней осталось только воспоминание, как об одном дне, который осветился утром ласковым солнцем. Этот день, как грань, отделял меня от ребячества. За ней наступала суровая трудовая жизнь.

Ксения Ивановна часто вечерами спрашивала меня:

— Как, Олешунька, жить-то будем? До Сашиного прихода еще далеко.

Но с Сашиным приходом я не ожидал лучших дней. Сашин приход казался мне тяжелой тучей.

Я пошел к Павлу. Он меня встретил приветливо. Но, когда выслушал, что я все-таки хочу учиться, сказал, пожимая плечами:

— Как я могу?… По-моему, иди работать, я тебя охлопочу.

Мне хотелось работать на заводе. Я часто с завистью смотрел на ребят, которые деловито шагали с завода, чумазые, в засаленных блузах. Там они рубили, пилили железо, шлифовали его, нарезывали винты. Я с любопытством смотрел через окна в механический цех. Оттуда доносился непрерывный гул. Вверху бешено вращались криволапые шкивы — колеса — и тянули, покачивая, длинные ленты ремней.

# НА ЗАВОДЕ

И вот утром я чувствую легкое прикосновение руки и ласковый голос Ксении Ивановны:

— Олешунька, вставай, пять часов свистит.

Я быстро поднялся с постели и вспомнил, как я когда-то будил отца: «Тятенька, вставай, три четверти свистит».

— Как пойдешь-то? С таких пор работать — надсадишься, — грустно проговорила Ксения Ивановна.

Она хотела еще что-то сказать, но смолкла, отвернулась и вышла. Я заметил, что она смахнула концом полушалка слезу.

Горячее майское солнце всплыло на востоке и повисло в безоблачном небе. За ночь на землю упал обильный дождь. Земля курилась тонкой испариной. Я шел и слышал далекую железную возню завода. Сегодня она особенно отчетливо слышна. Звонко били молоты листо-бойки, и тяжело бухал большой паровой молот. Всё это я видел, когда ходил на завод с Петром Фотиевичем. Впереди привычно тянулись к заводу черные фигуры рабочих.

На мосту, у завода, меня встретил Павел.

— Я думал, ты проспишь… Пойдем, — сказал он и с какой-то новой улыбкой, осмотрев меня с ног до головы, добавил: — Как взаправдашный рабочий идешь.

Заревел второй гудок. Черные двери проходной были широко раскрыты и поглощали уйму людей.

Павел ввел меня в огромный темный цех.

— Обожди здесь, — сказал он и ушел.

Я стоял, оглушенный грохотом железа и машин.

Толстые каменные стены вздрагивали, дребезжали закопченные стекла в небольших окнах. Потолка не было видно: он утонул в непролазно-черной копоти.

В углу где-то скрежетали зубастые колеса. В этой страшной музыке всё кружилось, гремело, окутанное мутью копоти и пыли.

Тускло горели электрические лампочки.

Вдали шумно вздыхали огромные печи, высовывая огненные языки.

Я слышал металлическую возню какой-то машины и видел, как она схватывала раскаленные куски железа и жулькала их, как тесто. А вверху в стремительном беге шкивы и ремни сплетали живую сеть.

Пришел Павел, и с ним сутулый, круглый, с черной бородкой, уставщик цеха — Трекин. На нем была темносиняя куртка, туго опоясанная ремнем. Он подвел меня к месту работы — отбивать

заусенцы у заклепок, складывать их в ящик — и показал на бородатого рабочего в фартуке:

— Вот твой старший.

Старший хмуро улыбнулся, усадил меня на ящик, подтащил железную цилиндрическую подставку с дырой и сказал:

— Вот, смотри как…

Он сунул в дыру заклепку и ударил её по шапке молотком.

— Вот и всё… Так всё… Для чего, говоришь? Вот заусенцы. Стукнешь — их не будет.

Я азартно принялся за работу, а старшой, улыбаясь, заметил:

— Да ты не того… Больно шибко бьешь… Ты легонько, поденщиной ведь работаем… тебе сколь поденщину положили?

— Не знаю, — сказал я.

— Наверно, копеек двадцать. Думаешь, больше? Как бы не так! По пятнадцати копеек ещё ложат.

Отбивая заклепки, я ударил молотком по большому пальцу. У меня выступили от боли слезы, во я скрыл это от старшого. Ноготь сразу почернел и стал похож на ягоду жимолости. Показалась черная кровь. Она смешалась с железной пылью и стала густой.

— Ты что, уж по пальцу свистнул? — равнодушно спросил старшой. — Ничего, привыкай. У меня все пальцы отбиты.

Он показал свои руки. На многих пальцах торчали черные ногти, из-под которых пробивались новые, еще не окрепшие.

— Рукавицы бы надо, да где их возьмешь? Дорогие, сорок копеек. Целый день за них робить надо.

Мне хотелось обойти цех и поближе посмотреть, что там делается. Против меня часто открывалась дверь в другой цех. Там быстро вращались шкивы, а возле машин, согнувшись, стояли люди.

Я спросил старшого, что там.

— Механическая… Я работал там черноделом, — ответил он. — Там хорошо. Молотобойцем работал… Тебе что? Охота посмотреть? Иди, только Трекину на глаза не попадайся, а я скажу, что ты доветру ушел.

Он нехотя вставлял заклепки в подставку и ударял по ним молотком. В серых глазах его равнодушие и пустота. Он показался мне пустым, неинтересным человеком, как ненужная стекляшка.

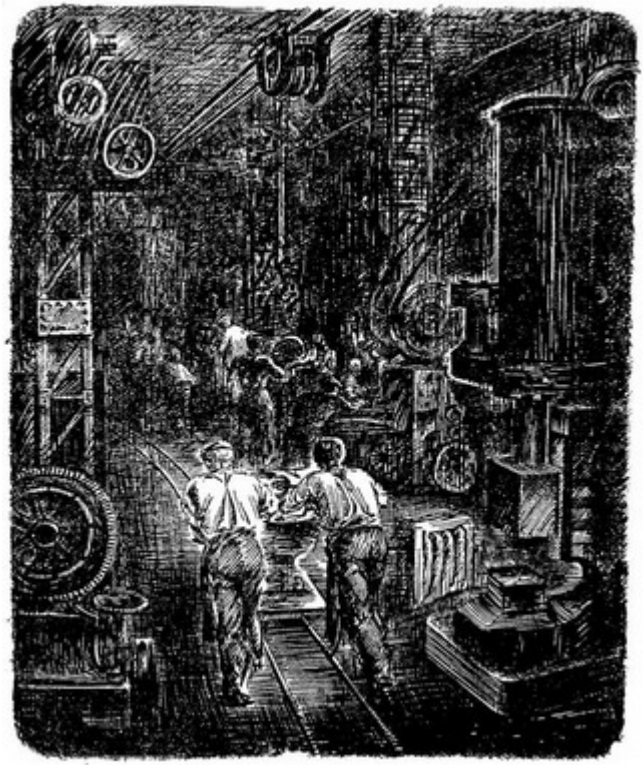
Я спросил его:

— Ты чей?

— Я-то?… Раскатов. А зовут меня Ефим… А ты чей? — спросил он меня. — А сколько тебе годов-то? Как же тебя приняли? Наверное, в метриках годов прибавили. Я тоже

двенадцати лет пошел работать. Тоже в метриках годов прибавил. Приходится обманывать, когда жрать захочешь.

Я скоро ознакомился с цехом, и работа, на которую меня поставили, меня уже не интересовала. Меня тянуло к машине — венсану, где делали заклепки и костыли, которыми прибивают рельсы к шпалам.



*Все было окутано мутью копоти и пыли.*

Мне нравилось смотреть, как два подростка достают клещами из огненных отверстий печи раскаленное добела, нарезанное квадратное железо и ловкими взмахами бросают в жолоб. Там штамповщик клещами сует его в такую же подставку, в какой я отбиваю заклепки, и нажимает рукой рычаг. Пресс, как живой, шевелится, сжимает железо, расходится и выталкивает бархатно-красный костыль.

У штамповщика — закопченное, тусклое, опушенное негустой бородкой лицо. И удивительно ярко белеют зубы и белки глаз.

Впрочем, у всех странно белеют зубы и белки глаз на чумазых лицах, особенно у подростков, которые работают у печей.

Мне хотелось попасть на работу к венсану. Я попросил мастера Белова, широкого рыжего человека, взять меня туда. Он погладил свою жесткую бороду, улыбнулся, точно съел что-то сладкое, один глаз его чуть прищурился:

— А клепку поставишь?

— Какую? — спросил я.

— Дурак, не знаешь клепку!.. Угощенье. — И снисходительно добавил: — Ну, уж с тебя — небольшую, потому ты еще мал. Ведро пива!

— Денег у меня нету, — сказал я.

— Денег? О деньгах не думай. Пойдем в пивную, к Андрюшке Саламатову. Он мне в долг дает. Я поручусь за тебя, а выписка придет — заплатишь.

Я отошел от Белова. Мне было обидно. Раскатов спросил меня:

— Ты что, в податчики просился?

— Просился.

— Не приняли?

— Клёпку просит.

— Хм… Клёпку? Это надо. Ты меня должен угостить спервоначалу, потому я твой первый мастер. А мне одному-то немного надо, сороковку — и всё.

— Не поставлю никому, — угрюмо сказал я.

— Ну, и будешь болтаться, как навоз в проруби, — насмешливо ответил Раскатов. — Вот тебе еще намажут…

— Чего?

— А вот увидишь, чего намажут.

На другой день Белов сам подошел ко мне и предложил:

— Пойдешь ко мне в податчики или нет?

— Пойду, только без клепки.

Белов усмехнулся и ушел развалистой походкой. В его усмешке я почувствовал что-то угрожающее.

Под вечер, проходя мимо Белова, я почувствовал, как меня схватили сзади за руки и крикнули:

— Мажь!

У печи широколицый проворный подросток бросил на землю клещи, мазнул рукой в напыльнике, подбежал ко мне и вымазал мне лицо. Я почувствовал, что жирная нефтяная сажа залепила мне глаза.

Не помня себя, я рванулся вперед, но сильные, крепкие руки сжали меня. О меня сдернули штаны и мазнули ниже живота. По ногам потекло что-то тонкое.

— Не корячься, — кряхтя, приговаривал Белов. — Вот так… Эх, хорошо! Хватит с него, ребята.

— Отпустите! — услышал я чей-то строгий окрик. — Белов, отпусти!

Меня душили слезы обиды. Возле Белова стоял молодой безусый рабочий и строго смотрел на него.

— Не стыдно? Хочешь, я тебя за это вздую?…

Белов, часто мигая, бессмысленно улыбался. Потом он облил молодого рабочего отвратительной бранью и зашагал широко к своему вен-сану, говоря:

— За каждого углана вздувать… Было бы дива-то!

— А вот увидишь!

— За что они тебя? — спросил молодой рабочий. Я рассказал.

— Еще этого не хватало!

Он подошел к Белову и внушительно стал ему что-то говорить.

Возле Белова уже собралась кучка рабочих. Все возбужденно говорили, окружив его, а он сидел на верстаке и, побалтывая ногами, прн-стыжейно молчал, глупо улыбаясь.

Спустя неделю я стал работать у венсана молодого мастера Борисова.

После истории с Беловым я как-то насторожился: видел, что не все одинаково относятся к нам, к подросткам.

Борисов, всегда деловитый, серьезный, следил за работой машины и за нами. Он подходил к нам и заботливо смотрел в раскаленный рот печи. Иногда брал клещи у меня или у моего товарища Кирюшина, рослого, тихого, смуглого подростка, ловко сажал ими в печь железо, выхватывал добела нагретое и с легкостью швырял в жолоб.

— Отдохните, ребята, — говорил он.

Он успевал подавать с обеих сторон.

— Ну-ка, пошевеливайсь! — кричал Борисов штамповщику, бросая железо в жолоб.

А тот, улыбаясь закопченным лицом, сбрасывал рукавицы и, плюнув в пригоршни, торопливо снова надергивал их, хватал железо, нажимал на рычаг. Венсан лязгал, глухо бухал и выбрасывал костыли. Эти два человека точно играли клещами и железом. Мне казалось, что и венсан включается в эту игру, не отстает от людей.

Мы любили Борисова, и не раз штамповщик, приземистый, широкий, чернобровый парень, говорил мне:

— Орел у нас мастер, ловко робить с ним… Не паук, как Белов.

И мне нравилось работать, хотя работа была трудная. Особенно тяжело было заготовлять железо. Я не мог таскать из амбара четырех-пудовые тюки железа. Нам помогали мастер и штамповщик. Зато у других мастеров таскали подростки сами.

Как-то раз тощенький весноватый Ивашка, тихий, незаметный мальчик, работавший у Белова, оступился у весов и упал с четырех-пудовым тюком железа. Мы подняли Ивашку. Он был

бледен, губы его были плотно сжаты, а глаза полны слез.

— Ушибся? — спросил я.

— Руку… — слабо проговорил он.

Мы дотронулись до его руки, он громко вскрикнул. Рука выше кисти была переломлена. Подбежал Борисов, засучил ему рукав. Мы уложили руку на дощечку, подвязали ремнем за шею и повели Ивашку в проходную. Он тихо плакал и морщился.

Белов, спокойно смотря на него, сказал:

— Ничего, срастется, молодой еще… — И, усмехаясь красным, опухшин от похмелья лицом, проговорил: — Хм… Какой ведь терпеливый — не кричит…

Во время обеденного перерыва Борисов, допивая из кружки чай, сказал:

— Все мы уходим из дому и не знаем, воротимся целы или нет…

А за что, для кого всё это? Пусть бы для себя, а то для барина, который завод свой в глаза не видит. Знает, поди, только пропивать капитал, который мы своим потом да кровью создаем. Эх!

Он закурил и сердито бросил в угол спичку. А потом, такой же грустный, в тяжелом раздумье, ушел в механический цех.

Я вспомнил слова Петра Фотиевича: «Вот, смотрите, ребята, гора, рудник, завод — и всем этим владеет один человек». Но в речах учителя чувствовалась какая-то недомолвка. А вот Борисов сейчас докон-. чил эту речь. Я почувствовал, что завод для меня — вторая школа, которая дополняла знания, полученные у Петра Фотиевича.

Живые машины, режущие, прессующие раскаленное железо, мне теперь казались уж не такими интересными, как черномазые люди. Я понимал, что человек создал эти машины. Жизнь людей завода была куда интереснее во всем её многообразии. Как разнообразны машины по своему строению, по своей сложности, так и люди многообразны.

Вот Борисов. Он выделялся из общей массы рабочих. Всегда он был строго серьезен, молчаливо задумчив, а иногда чем-то озабочен. Если у него и появлялась на лице иногда улыбка, то она была грустной. Никогда он нас не подгонял в работе, всегда был ровен и этим вызывал настойчивое желание работать добросовестно.

В обеденный полуторачасовой перерыв он не ходил домой. Пообедав у себя в цехе, он уходил или в механический, или подавал мне большой железный чайник и говорил:

— Сходи-ка, Ленька, за кипятком, попьем чайку на вольном воздухе.

Я бежал в водогрейку за кипятком, и мы усаживались где-нибудь в тени, в укромном уголке, пить чай. К нам подсаживались рабочие. Мне казалось, что Борисов знал все. О чем бы его ни спросили, он давал уверенные ответы. Нередко он что-нибудь рассказывал, и рабочие затихали, жадно вслушиваясь в его ровную речь. Он, должно быть, любил естествознание и так же, как Петр Фотиевич, рассказывал о том, что наша земля была прежде раскаленной. И тут среди слушателей возникало недоумение.

— Как же так, Вася? А по библии не так…

Я чувствовал, что и здесь возникают такие же противоречия, с какими сталкивались мы в школе.

Игнатий Белов иной раз замечал с ядовитой усмешкой;

— Что это вам там Васька врал?

Я любил слушать Борисова. Однажды он захватил мое внимание рассказом о Степане Разине. До этого в моем представлении Степан Разин был просто атаманом шайки разбойников, грабившим, не щадя людей. И в памяти моей не было имени «Степан Разин», а просто «Стенька Разин». Но Борисов произносил имя Разина с восторгом и любовью. В Степане Разине он видел огромной силы ненависть, направленную против купцов, бояр и царей, и неизмеримую любовь к бедному, трудовому народу.

Вечером этого дня я ушел с работы, потрясенный величием фигуры Разина, жуткой повестью о нем. Мне представлялась яркая картина пыток и казни Степана. Она развернулась перед моим мысленным взором огромным полотнищем, залитым кровью Разина и его сподвижников. Мне вспомнились недавний бунт рудокопов, порка, застывшая кровь в притоптанном снегу…

В другой раз он рассказал нам об Емельяне Пугачеве.

— А в церквах вот проклинают их… — задумчиво сказал большебородый рабочий-резчик. — Им следует памятники поставить, а их… Анафема проклята!..

И я вспомнил, как в рождественскую обедню дьякон Аристарх в золотом стихаре, размахивая орарем, густым басом провозглашал:

— Стеньке Разину, Гришке Отрепьеву и Емельке Пугачеву анафема проклята-а!..

А певчие стройно пели:

— Анафема, анафема прокля-а-та…

Вставал в памяти брат Александр, его лицо, заключенное в рамку негустой рыжеватой бороды. Он сосредоточенно, серьезно поет приятным басом: «Анафема, анафема прокля-а-та…»

И я тоже пою «анафему».

Рабочие жадно слушали.

Мне теперь стыдно смотреть в ласковые, ясные глаза Борисова. Он сидит в уголке, курит, окутываясь синеватым облаком дыма, и улыбается.

— А все-таки не смог в ту пору осилить народ, — говорит штамповщик. — Если бы осилил? Не то бы сейчас было.

— Не то время было, — тихо поясняет Борисов. — Народ был забитый, разрозненный, и вожди-то не понимали, как нужно действовать.

Борисов рассказал в этот день еще о новом для меня человеке, столь же мощном, вырастающем из глубины ушедшего прошлого — Степане Халтурине.

— Т-ш-ш, Игнашка Белов идет, — предупредил кто-то.

В нашу сторону от цеха подвигался Белов. Разговор сразу изменился. Рабочие заговорили про голубей, про коней.

Эти беседы всегда вызывали трепет моего сердца. Я чувствовал, что передо мной раскрылись далекие горизонты, в душе у меня становилось ясно. Точно после жуткого ненастья раздвигалась толща хмурых туч, открывая неизведанный бирюзовый простор неба.

Я скоро понял, что эти беседы происходили среди малочисленной кучки одних и тех же людей. Они были окружены

осторожностью, и в этой таинственности я чувствовал пощипывающий восторг. Внутренно гордился тем, что был прямым участником всего, что говорилось, что меня не боятся, как Белова, мне доверяют, считают своим. Меня это поднимало, и во мне также требовательно вставала осторожность. Возникали неизмеримое уважение и любовь к Борисову. Он казался мне близким, родным, дороже моих родных братьев.

# СТАРАЯ КРЫСА

Завод всасывал меня, раскрывая многообразие людей, их характеров и привычек. С каждым днем я находил новое, необычное. Меня тянуло с не меньшей силбй и в механический цех, где также были интересные люди.

Однажды, ненастным днем, мы закусили у себя в цехе и разбрелись. Я пошел в механический. В цехе было безлюдно, тихо, как будто оглушающий шум машины внезапно замер и упал. Только где-то позвякивала сталь:

— Дзинь-н!.. Дзон-н!..

Кто-то работал в обеденный перерыв.

В отдаленном углу послышался взрыв хохота. Я пробрался меж наваленных чугунных шестерен и валов туда, где Семен Кузьмич Баранов, старый слесарь, рассказывал что-то, и в изумлении остановился.

У чугунной колонны, на ящике, где обедал слесарь Евтроп Терентьевич Берников, смело разгуливали пять крупных крыс. Евтроп бросал им хлеб, а они смело подходили и ели.

Ванька Кирюшкин подобрал гайку и нацелился в крыс. Но Евтроп грозно предупредил:

— Попробуй-ка брось, я тебе уши-то оборву!

Евтроп, широкоплечий сутулый человек с мягкой лопаточкой русой бороды, торопливо хлебал из закопченного железного котелка картофельную похлебку. Вкусно пахло луком и лавровым листом. Он уронил крошку хлеба, крысы бросились к ней.

Евтроп заглянул под ноги и шутливо проговорил:

— Ну, чего вам мало стало? У меня не драться! Нате-ка! — Он бросил им еще хлеба.

Крысы ходили возле ног, кряжистые, как обрубки, и хвосты у них маячили, острые, длинные, прямые. Мимо прошел белобрысый кривоногий Сушков.

— Что, Евтроп Терентьич, скотинку свою кормишь? — смеясь, спросил Сушков.

— Кормлю. Это наша скотинка: вша да крыса, клоп да таракан.

Пообедав, Евтроп тоже подошел к верстаку Семена Кузьмича, где собрались рабочие, которые не ходили обедать домой.

Семен Кузьмич — старый слесарь в ватной стеганой жилетке, из-под которой выглядывала ветхая красная рубаха, — был первым сказочником, рассказчиком веселых анекдотов и прибауток. Вокруг него всегда собиралась молодежь. Старики же сторонились и недовольно, даже злобно посматривали на него. С

молодежью он был ласков и словоохотлив.

У него все были «на службе», и всем он распределял работу. Старым он говорил:

— Вы, почтенные, отправляйтесь ткать, тряпье рвать, чулки вязать.

Нас, подростков, называл «верхоглядами».

Иной раз к нему подходили и кричали:

— Семен Кузьмич, расчет давай!

— Как это? — серьезно спрашивал он.

— Не желаем больше у тебя служить.

— Ага, бунтовать? А если я губернатора потребую? Да пороть вас опять станем? Забыли?… А? Нет вам расчета: кассир у меня запировал… Носить, говоришь, нечего? К осени куплю по лаптишкам… Сапоги?… Я вам дам сапоги!

И, встав в воинственную позу, Семен Кузьмич кричал:

— Разойдись, стрелять буду! Тут полицейских крючков обрядить не во что, а они — «сапоги»!

У Баранова был неистощимый запас сказок, анекдотов и прибауток. Меня однажды послали спросить у него, кого он поймал, когда ловил рыбу в Баранче. Я смело подошел к нему ж спросил. На его липе промелькнула острая усмешка. Он скосил на меня свои маленькие колючие глазки и спросил:

— А ты чей?

Я сказал.

— Это Петра? Знаю. Ну, коли Федорыча — скажу: Зотю поймали. Не понимаешь? Зотю — лешачонка. Приходи потом, расскажу.

И рассказал:

— Пошли рыбачить на реку Баранчу с бреднем. Ночь-то была темная, как в душе у Игнашки Белова, вашего мастера, — знаешь его?

— Знаю.

— Вот… И река эта кажется не река, а смола. Кипит, кипит… Я говорю: «Забредем в этот плёс». Забрели. И вытащили во какого налима! В кузов не входит. Башку-то засунули, а хвост-от наружи. Ну, значит, пошли в балаган, уху варить. И вдруг это слышим — из воды вылез кто-то, поплескался, да и кричит: «Зотя-а!»

— Кто это? — спросил я со страхом.

— Кто? Лешачиха. А у нас из кузова налим как заорет: «Ма-ма-а!..»

Семен Кузьмич во время рассказа не проронил ни одной улыбки; вокруг него покатывались со смеху, он же сидел серьезный и деловитый.

Больше всего мне нравились его сказки про попов. Знал он их

очень много. Видно, что не любил попов. Во время этих рассказов глаза его метали искры ядовитого смеха.

Я крепко полюбил Семена Кузьмича. Мне казалось, что он всё знает и, как волшебник, может угадывать мысли каждого человека. Мне не страшно подойти к нему и спросить о том, что меня волнует. Я теперь не боюсь его острых глаз. Я вижу в них теплые излучины.

Раз я подошел к нему и спросил:

— Семен Кузьмич, а ты веришь в бога?

— В бога? — чутко насторожился он и пытливо посмотрел мне в глаза. Его безволосые веки чуть вздрагивали, а в глубине карих глаз засветилась какая-то незнакомая мне радость.

Я почувствовал, что он понял всю серьезность и сложность моего вопроса. С лица исчезла обычная острая усмешечка. Вместо неё из густой сети морщин на истощенном лице глянуло грустное раздумье.

— А тебе для чего это? — спросил он.

Во мне еще ни разу не горело так доверие к людям, как оно вспыхнуло вот сейчас к этому удивительному человеку. Я рассказал ему все свои сомнения, рассказал о Петре Фотиевиче. Он улыбнулся и шутливо дернул меня за волосы.

— Ты умный парнишка… Для чего, говоришь, бога придумали?

— Хм, где ты робишь?

— В ковальной.

— А чья ковальня?

— Демидова…

— Вот… Чтобы ты робил да молился, а о другом ни о чем не думал. Сколько поденщины-то получаешь?

— Двадцать копеек.

— Ишь ты! А если бога к тебе не приставить, так ты, пожалуй, сразу рублевку запросишь, да еще что-нибудь и придумаешь. А у нас, в случае чего, если вольные мыслишки в башку влезут, так на то еще сатана есть. А на этом свете — жандарм. Сатана на том свете возьмет да голым задом на каленую сковородку посадит. А жандарм на этом свете тебя в каменный мешок упрячет. Вот люди-то и боятся. Думаешь, они веруют? Боятся! Кому это надо? Попу, хозяину да вот вашему Игнашке Белову. Он каждую выписку на масло для цеховой иконы собирает. Ты, поди, давал?

— Давал.

— Сколько?

— Четвертак.

— Дурак! Он на этот четвертак пошел да опохмелился. Понял?

— Понял.

— Ну вот, иди-ка, робь.

Я ушёл. Мне жаль было четвертака, который я дал на масло для лампады у большой цеховой иконы Николая-чудотворца. С этих пор я внимательно следил за Беловым.

Утром, приходя в цех, он раздевался, подходил к иконе, обнажал облысевшую голову и набожно крестился. Потом залезал на табурет, заправлял лампаду, зажигал её и снова крестился. После вытирал масленые руки о свои жидкие волосы и, встряхнув фуражку, напяливал её туго на голову. Во всех его движениях было какое-то глупое, ненужное благочестие.

В другой раз он пришел красный, съеженный. Он взял кружку трясущимися руками, открыл её маленьким ключом, достал из неё деньги и скрылся. Потом я видел, как уставщик Трекин выпроваживал его, пьяного, из цеха.

Каждое утро и вечер к иконе собирались на молитву. Старики шли добровольно, а нас, подростков, Трекин загонял силой:

— Айда, айда на молитву, без разговоров!.. Что? Молиться не пойдешь — с работы выгоню.

Мы нехотя шли, вставали. Впереди всех Белов. Он громко, как откуда-то срываясь, запевал неприятным, гнусавым голосом:

— Слава тебе, бо-о-о-о-же наш, сла-ава тебе…

Однажды мы чинно стояли и молились. Вдруг из-под иконостаса вылезла толстая, жирная крыса, удивленно посмотрела черными пуговками глаз и повела усатой мордочкой.

Голоса вдруг смешались и дрогнули. Всех душил смех, а крыса спокойно прошлась, уселась на приступок иконостаса и внимательно следила за людьми, точно слушала пение.

Сзади нас проходил Семен Кузьмич. Лицо его сморщилось в озорную улыбку, он тихо нам шепнул:

— Смотрите, ребята, Евтропкина скотина на молитву пришла.

Мы фыркнули. Не выдержали и остальные. Молитва оборвалась, и грохнул взрыв хохота. В крысу полетели шапки.

Мы разбежались. Рабочие, смеясь, надевали шапки и расходились, а вдогонку летела отборная брань Белова.

Через неделю Белов подошел ко мне и требовательно спросил:

— Выписку получил?

— Получил.

— Давай полтинник!

— На что?

— На масло в лампадку, к иконе.

Я мысленно подсчитал, что если я отдам полтинник, то у меня останется только два рубля с полтиной. Мне хотелось

принести домой зеленую трешницу. Я решительно сказал:

— Не дам.

— Как?

— Просто не дам, и только. Ты пропиваешь эти деньги.

Белов покраснел от злобы. Он молча схватил меня за волосы и дернул. В глазах моих потемнело от звонкой пощечины.

Я вырвался и схватил дюймовую заклепку. У меня невольно полились слезы обиды.

— Я сам видел, как ты из кружки таскал деньги! — закричал я.

Белов снова бросился ко мне, но я забежал за пресс. Ванька Кирюшин сосредоточенно, спокойно взял с полу костыль и так же спокойно бросил им в Белова. Белов присел, выругался отборной бранью и, прихрамывая, бросился за Ки-рюшиным. В руках его зловеще мелькнула толстая квадратная железина.

— Убью, гад! — кричал он.

Но две пары дюжих рук схватили Белова и отняли железину. Прибежал Трекин. Расталкивая людей, он грозно закричал:

— Что аа драка?… Разойдись сейчас по местам!

В конце дня мы стояли с Ванькой в конторке цеха. Возле нас стояли Белов и наш мастер Борисов. Я рассказывал, как было дело.

— А за это знаешь, что вам будет? — угрожающе спросил Трекин.

— Надо заклик дать, Павел Осипыч, — смиренно сказал Белов. — Каждый уг-лан будет так с мастерами обращаться.

— Тебе спервоначально надо заклик дать, — горячо заговорил Борисов. — Правду мальчишка сказал: деньги у Николы-святителя на шкалики таскаешь? Тас-каешь. Не один он видел. Все знают.

— А вы другого старосту назначьте, — вызывающе ответил Белов.

— Это не мое дело, я в ваши дела не вмешиваюсь. Пусть уж тот назначает, кто тебе деньги на масло дает, — сердито сказал Борисов.

— Выйдите, — приказал нам Трекин.

Мы вышли.

Борисов и Белов еще долго о чем-то спорили с Трекиным. Потом Борисов, под-ходя к венсану, сказал:

— Давай, ребята, принимайся за работу. — И тихонько добавил: -

Хотели вас выгнать, да отстоял я. Вы не связывайтесь с ним. От дряни подальше — лучше будет.

# В НОЧНУЮ СМЕНУ

О того времени, как я пошел работать, ребячья жизнь во дворе Цветковского дома точно отодвинулась от меня. Я уходил в пять часов утра, когда гудел первый гудок, а домой приходил в шесть вечера.

Меня ласково и заботливо встречала Ксения Ивановна:

— Устал? Поесть хочешь?…

Я долго отмывал с рук, с лица заводскую сажу. Пил чай. Во дворе раздавались звонкие ребячьи голоса. Меня тянуло туда, но после чая хотелось чуточку отдохнуть. Я уходил в чулан, где была моя постель. Там — прохладно и темно. Чувствовал, как мое тело приятно отдыхало, а глаза точно задергивало черной завесой. Ребячьи голоса смолкали, куда-то проваливались.

А утром снова прикосновение руки Ксении Ивановны и тихий голос:

— Олешунька, пять часов свистит.

Я соскакивал, одевался, а она, тихо сожалея, говорила:

— Свету теперь не видишь. Вчера хотела тебя разбудить вечером, да жаль стало, уж больно спал сладко, а во дворе-то весело было. Ребята все время тебя спрашивали.

Я мечтал, что скоро пойду в ночную смену и целый день буду с ребятами.

Как-то, придя с работы, я увидел Денисова. Он меня не узнал. Любопытно рассматривал мое лицо, костюм. Потом, очевидно, узнав, радостно подбежал ко мне:

— Алешка!.. Т-т-ты р-работаешь?!

Я кивнул головой и с любопытством разглядывал путешественника. Он похудел. На заржавленном «Яйце, возле носа, появились две глубокие складки, а на лбу — тонкие морщинки, точно его круглая рыжая голова потрескалась.

— Ты где был? — спросил я.

Денисов грустно, сконфуженно улыбнулся и, смотря в землю, ответил:

— Д-далеко… — Где?

— А п-почти до К-кавказа до-бг-добрался. Уй, т-ам х-хорошо! До П-перми в вагоне п-под лавкой д-доехал. А т-там за-бг-забрался в м-мешки на п-пароходе и до К-казани… А т-там опять… в мешках.

— Где?…

— Н-на пароходе.

— Докуда доехал?

— Д-до Царицына.

— А как домой-то попал?

— По этапу п-пригнали. П-полиция. Я без паспорта был.

Денисов еще больше стал заикаться. И лицо его еще сильнее искажалось. Он сказал, что, как только вырастет большой, уедет на Кавказ и откроет там плантацию, будет разводить подсолнухи.

— П-п-подобрать х-хороших р-ребят — и вместе… артельно… Од-од-ному т-трудно…

Весь этот вечер я был с ним. Отец его, черноватый сутулый машинист, всё время следил за нами. Следила за ним и мать его. Она часто выходила и кричала:

— Ваня, где ты?

Ванюшка отзывался, и она, успокоенная, уходила, а мой товарищ, смеясь, говорил мне:

— Д-думают, что я опять уй-ду… Бг-бг-боятся.

— А тебя отец не вздул за это путешествие? — спросил я.

— Х-хотел, да Иван Михайлыч н-не дал.

Я рассказывал Денисову о заводе, о Баранове, о Белове. Он задумчиво слушал меня и вклинивал в мою речь:

— П-понятно… Зд-дорово!.. Ишь ты!

Мне казалось, что возле меня сидит не мальчишка, а взрослый человек. В Денисове исчезла ребячья живость. Ходил он медленно, степенно, как большой, и в ребячьих играх перестал участвовать. Больше всего я его видел на террасе голубятни, с книгой в руках. Он приносил интересные книги. Я брал их читать, но читать было некогда.

Вечером, в пять часов, я уходил в ночную смену. Цех погружался в дымный хаос говора прессов и трансмиссий. В темноте посвистывали, похлопывая вверху, приводные ремни. Невидимо крутились шкивы, позвякивая муфтами, и потрескивала канифоль на ремнях. Лязгая стальным телом, возились венсаны. Люди были видны только у печей. Из подставок выскакивали бархатно-красные костыли. Они ложились в кучу, черную сверху, а внутри кучи медленно потухал красный, жаркий цвет.

У нас однажды испортилась подставка у венсана. Мы с Ванюшкой сбавили нефть форсунки в печи. Штамповщик и мастер Борисов возились у венсана, а я, присев на железный ящик, задремал. Из рук у меня вывалились клещи. Мне снился поп, отец Александр Сахаров. Он взял мою голову и мучительно сдавил мне нос.

Я открыл глаза. Возле меня стоял Трекин.

Он взял мои клещи и сдавил мне нос Я вскрикнул от нестерпимой боли. Клещи звякнули и упали на пол. А Трекин грозно сказал:

— Ты что, спать сюда пришел?

Позади меня кто-то захохотал. Я оглянулся. За колонной ухмылялся Белов. Потом он подошел ко мне и, злобненько улыбаясь, вымолвил:

— Что, выспался?… Не у меня ты робишь, а то бы я тебе не то сделал.

Я заплакал, схватил клещи и замахнулся. Белов ловким движением выхватил у меня клещи, сдернул с меня фуражку и рванул за волосы.

— Вот тебе, щенок ты белогубый! Еще вздумал налетать постарше себя!

А тем временем Трекин безжалостно пинал моего товарища Ки-рюшина.

Прибежал Борисов. Он возбужденно закричал:

— Вы что ребят тираните?… Павел Осипыч! Я же им сказал, что можно отдохнуть, пока мы венсан исправляем.

Трекин ушел. А Борисов, подходя к Белову, внушительно сказал:

— Ты вот что, архимандрит, в наше дело не ввязывайся. Не то я ввяжусь в твое дело. Понятно?

— Чего ты мне сделаешь? — заносчиво огрызнулся Белов.

— Я знаю, чего.

— Ничего ты не знаешь.

— Ну, хорошо, увидим! — сказад Борисов и ласково обратился ко мне: — Давай, Ленька, разогревай печь.

Я снова встал на работу. А Борисов сердито кричал Белову:

— Ребята даром работают, а вы спрашиваете с них, бьете их, как взрослых в кабаке! Сам-то ты только шары свои продрал, дрыхал.

— Ты не видал…

— Видел! Знаю, куда спать ходишь.

— Я — мастер! — ударив себя в грудь, хвастливо сказал Белов.

Я возвращался домой ранним утром. На Лысой горе, на каланче, уныло, монотонно звенел колокол. Из-за горы ласково выглянуло утреннее солнце.

*Глаза слипались от сажи и усталости.*

Глаза мои слипались от сажи и усталости. Руки ныли, а ноги дрожали и подкашивались. Лицо заплыло в жгучей опухоли. Хотелось прикорнуть где-нибудь на траве? у забора, и уснуть под лаской теплого утреннего солнца… Но я шел домой, чтобы проспать день, а к пяти часам вечера снова вернуться к венсану. А потом, после двухнедельной работы, получить в конторе от сердитого кассира трехрублевую бумажку и копеек тридцать мелочи.

# СНОВА ШКОЛА

Ветреным августовским днем я ушел с завода. Получил окончательный расчет: семь рублей восемь гривен.

В небе торопливо плыли стаи облаков. Временами в синих провалах неба появлялось ослепительное солнце» но оно уже не грело, как грело месяц назад. Деревья тревожно шумели, роняя желтые листья. В их шуме чувствовались первые холодные вздохи близкой осени.

Завод, в обычной железной возне, дымил и стлал едкий дым по улице. Мне знаком был теперь железный шелест завода, его звонкая, стукотня.

За прокопченными стенами остались Борисов, Семен Кузьмич, Ванька Кирюхин. Мне было жаль расставаться с ними. Я как-то прирос к заводу, свыкся с ним. Они по-прежнему будут вставать рано утром, уходить на весь день, вечером приходить усталыми, разбитыми и будут спать до утра. Или уходить вечером, в пять часов, в ночную, а утром с тяжелой головой итти домой, чтобы проспать до вечера и снова итти на работу. И так — без конца. Изнывая в тяжелом труде, люди проклинают, ненавидят этот заколдованный круг.

*По двенадцати часов я стоял у раскаленной печи.*

Мне вспомнилось, когда я в первый раз шел на завод. Меня тогда подмывало волнение, какой-то тихий восторг. Но скоро всё это прошло. Я работал до одурения, стоя по двенадцати часов у раскаленной печи, глотая жирную нефтяную сажу, обжигаясь о раскаленное железо. А за мой тяжелый труд получал кто-то другой. И сотни пудов костылей, которые мы делали, были не наши. И вот теперь с жестокой ясностью вставала мысль, брошенная Борисовым: «Хоть бы для себя, а то для барина. А он не знает о своем заводе и пропивает, поди, капитал, который мы сколачиваем своим потом, своей кровью».

Я уносил с собой тяжелый груз новых чувств и новых мыслей. В последний раз я оглянулся на завод и ушел, подавленный н притихший.

Ксения Ивановна встретила меня необычно радостно:

— Ну что, получил деньги?… Слава богу! Это уж ты возьмешь на книжки. Мне только дай двадцать копеек на сахар. Я фунт сахару куплю.

Но я отдал все деньги. Перебирая в руках новенькие кредитки, она, улыбаясь, сказала:

— Ну, теперь тебе легче будет. Скоро Саша придёт.

Но Сашу я не ждал и не хотел, чтобы он приходил.

* * *

Мы снова шумной гурьбой идем в школу. Я снова в кругу Еремеева, Денисова. Еремеев потолстел, но глаза его всё были те же: еремеевские, спокойные. На лице его лежал густой загар. Он посмотрел на нас с Ванькой Денисовым и удивленно процедил;

Чего это вы?

Что? — спросил я.

— Да ничего. Ты, Ленька, как бледная немочь, а ты, Ванька, чего-то совсем ссохся. — И хвастливо добавил: — А вот я всё лето в лесу был — с тятей дрова рубили, сено косили, страдовали.

Он походил теперь на серый обрубок. Новая блуза на нем пыжилась и еще более ширила его.

Все ребята за лето выросли, раздвинулись в плечах.

С первых же дней наш класс отличился. Придя на урок, Алексей Иванович не нашел у себя на столе чернильницы и ручки.

— Кто сегодня дежурный? — спросил он.

— Я, — поднял руку Денисов.

— Почему нет ручки и чернильницы на столе?

— З-з-забыл п-п-поставить.

— У меня чтобы в следующий раз на столе были чернильницы и ручки, — строго сказал он.

— Х-х-хорошо, бг-бг-будет.

На другой день Егор подошел ко мне и, озорновато улыбаясь, оказал:

— Денька, давай, собирай чернильницы всего класса. Сейчас урок Алексея Иваныча.

Я понял его мысль. Мы полстола заставили чернильницами и в каждую воткнули ручку. Егор деловито посмотрел на стол и сказал:

— Мало, ребята.

Чернильниц и ручек мы заняли в четвертом, соседнему, отдалении. Мы сели и ожидали учителя, на это раз особенно смирно, без шума; всех душил смех. Стол был похож на огромную щетку, щетина которой взъерошенно поднялась в разные стороны.

Вошел Алексей Иванович. Сегодня он был в хорошем настроении. На лице его была веселая улыбка.

Но как только подошел к столу, улыбка сменилась досадой и удивлением. В классе на этот раз была необыкновенная тишина.

Затаив дыхание и едва удерживая смех, мы следили за учителем. А он встал, как вкопанный, и переводил взгляд то на щетину ручек, то на нас. Лицо его вспыхнуло.

— Что это?

Мы молчали.

— Я вас спрашиваю, что это значит?

В классе послышалась сдержанная возня, но все молчали.

— Кто сегодня дежурный?

— Я, — ответил Егор.

— Что это значит? — уже весь красный, спрашивал учитель. Егор, держась за крышку парты, посмотрел в пол, точно там искал ответ, и серьезно сказал:

— Вы, Алексей Иванович, велели, чтобы ручки и чернильницы у вас были на столе…

— Садись, — сказал учитель и направился к выходу. — Чтобы у меня не трогать чернильниц!

Вскоре он вошел в класс в сопровождении Петра Фотиевича.

— Вот, полюбуйтесь, чем мы занимаемся, Петр Фотиевич! — обиженно сказал Алексей Иванович.

В классе стояла настороженная тишина. Петр Фотиевич встал и долго смотрел молча то на нас, то на чернильницы. Лицо его розовело, и правая щека вздрагивала от сдерживаемого смеха. Возле него стоял высокий, тонкий Алексей Иванович и обиженно посматривал куда-то в окно.

— Так… — произнес наконец Петр Фотиевич. — Кто этим делом занимается?… Кто дежурный по классу?

— Я, — отозвался Егор и встал.

— Кто это сделал?

— Все старались, Петр Фотич.

— Все… старались! — подчеркнуто проговорил Петр Фотиевич, и снова было видно, что он чуть сдерживает смех. — Убрать сейчас же всё! Еремеев, убирай!

Егор вышел, стал переставлять чернильницы со стола на окно.

— Помогите ему! — крикнул Петр Фотиевич.

Денисов я я вышли помогать Егору. А Петр Фотиевич уже строго проговорил:

— Я вас сегодня продержу здесь без обеда до вечера.

После урока мы слышали раскатистый хохот педагогов в учительской, а Петр Фотиевич, пересыпая свою речь смехом, говорил:

— Нет, каково?… А?… — и снова захохотал.

Но без обеда весь класс он не оставил. Он распустил всех, а меня, Денисова и Еремеева оставил без обеда. Уходя, он наказал

сторожу:

— Ты, Никифор, не выпускай их. Я сам приду и отпущу. А если будут шалить, рассади их в разные классы и запри.

Школа опустела. Заданные Петром Фотиевичем работы мы добросовестно выполнили, и нам скучно было сидеть без дела. Мы вышли в зал. Нам захотелось поиграть на фисгармонии, на которой часто играл Петр Фотиевич. Но она была закрыта.

Мы выломали квадратный гвоздь у печной дверки и открыли фисгармонию. Никифора в школе не было: он вышел во двор колоть дрова. Фисгармония у нас заиграла. У меня выходило удачней всех. Я сразу подобрал по слуху песенку «По улице мостовой».

Мы так увлеклись музыкой, что не заметили, как вошел Никифор.

— Эй вы, дьяволята, чего делаете?… — закричал Никифор.

Мы бросились врассыпную.

— Стой, стой! Не расходись! — Он схватил меня за шиворот и втолкнул в класс.

Дверь захлопнулась, и щелкнул замок.

— Вот, сиди там, рестант! — торжествующе проговорил Никифор.

Потом я слышал его тяжелые шаги и возню. Он ловил остальных и ругался, как умел.

В школе снова тихо. Временами слышно, как Никифор приносит дрова, бросает их на пол и звякает печными дверками и кочергой.

Мы разделены. Мерзнет серый ноябрьский день. Мне скучно. Я растягиваюсь на скамейке парты, хочу заснуть, но не могу.

Вдруг слышу окрик:

— Алешка! Слышишь, Алешка!

Это Егор кричит в отверстие возле пола, проделанное сквозь толстую каменную стену.

— Ты, Егор? — наклонился я к отверстию.

— Я… Слышишь меня?

— Слышу. А Ванька где?

— Вон в том классе, я с ним говорил. Удрать бы как?

— А как удерёшь?

— У тебя форточка большая? Я посмотрел.

— Большая.

А у нас маленькие… Валяй, пробуй.

Я попробовал. Открыл форточку и осторожно вылез, боясь выдавить стекла в рамах.

На улице стоял теплый день, завешенный густой кисеей снегопада.

Я, крадучись, пробежал в коридор. Никифора не было. Ключи торчали в дверях. Первьм я освободил Денисова, потом Еремеева. Мы поспешно оделись, забрали свои книжки, затворили классы на замки и ушли.

Утром Никифор сердито нас спросил:

— Вы, чертенята, где вышли?

— В подворотню, — серьезно сказал Егор.

— Врёшь! Под двери кошке не пролезть… Теперь отвечай за вас! Никифор рассказал, как они с Петром Фотиевичем обыскивали все классы.

— Я и под партами-то везде вышарил. Как в воду, дьяволенки, канули!

Нас вызвали в учительскую, и мы всё чистосердечно рассказали. Петр Фотиевич многозначительно сказал мне:

— Начинается учебный год, и вы начинаете…, А правда, мне сказывали, что вы начали и табак покуривать?

Мы все трое покуривали, но я отперся. А неделю спустя он меня накрыл с папироской в уборной.

— Ну, смотри! Чтобы плохо не было. Стипендию-то я тебе ведь всё еще хлопочу. Ты учишься хорошо, но ведешь себя никуда негодно.

Я снова присмирел, но ненадолго.

# АЛЬБОМ

С некоторых пор я заметил, что Денисов стал аккуратнее, чище одеваться. Обычно он был неряшлив: куртка из-под кушака смотрела кособоко, штаны — в каких-то пятнах, шея — темная, а лицо — как в маске. А тут он сразу изменился. Утрами он выходил во двор и старательно чистил свою куртку, штаны и светлосерую потрепанную шинель. Штаны он стал носить навыпуск, а на фуражке был всегда прицеплен значок городского училища.

— Ты, Ванька, на гимназиста смахиваешь, — заметил я.

Он довольно улыбнулся.

Раз в субботу, усердно очищая свою шинель, он спросил меня:

— Ты в ц-церковь пойдешь?

— Пойду в собор петь.

— А я в Введенскую пойду сегодня ко всенощной.

— Зачем?

— А вот п-пойдем.

Я удивился. Ходить в церковь мы не любили. Если я и ходил, то в хор — петь. Теперь мне платили жалованье — три рубля в месяц.

Накануне праздника «введения» в соборе очень рано закончилась всенощная, и я по пути забежал в Введенскую церковь. Денисов стоял у самых дверей. Я подошел и встал рядом с ним. Он улыбнулся и шепнул мне:

— Здесь она…

— Кто? — спросил я.

— А вот увидишь, — улыбнулся он, как человек, который чувствует себя счастливым.

На этот раз он был особенно чисто вымыт, даже брызги мелких веснушек точно исчезли, и лицо не казалось подернутым ржавчиной. Рыжеватые волосы он искусно зачесал косым рядом на правую сторону. Весь он был точно начищен, как блестящая медная пуговица.

Я глядел на него, и мне было смешно. Денисов был задумчив, серьезен, даже набожно крестился. Я хихикнул, а он укоризненно посмотрел на меня и покачал головой.

Кончилась всенощная. Народ густым потоком стал выходить вон, толкаясь. Денисов стоял, кого-то поджидая, и внимательно смотрел в толпу.

Вдруг он дернул меня за рукав, направился к выходу и взглядом показал мне на девочку в плюшевой жакеточке, в

котиковой шапочке и в синей короткой юбке. Она шла впереди вас и вдруг оглянулась. Её черные, большие, как вишни, глаза весело блеснули. Она посмотрела на Ваньку, кивнула головой и улыбнулась.

На паперти он подошел к ней и поздоровался за руку. Я ненужно стоял возле них, чувствуя себя лишним. А они спустились с паперти и пошли в противоположную сторону. Я поодаль шел за ними.

Потом она скоро отделилась от него и ушла в небольшой трехоконный дом. Денисов подошел ко мне и сказал:

— П-пошли д-домой. — И, немного помолчав, добавил: — Я её уже ч-четвер-ртый раз провожаю. Да бг-больно бг-близко живет… Она в Анатольевском учится. В п-первом к-классе.

Потом он достал что-то из кармана и показал мне. Впотьмах я не мог рассмотреть, что это, и спросил.

— Альб… альбом это, — сказал он. — О-стишок нужно написать.

— Ты мне п-поможешь? Я не умею.

Стихи я никогда не писал, но пообещал, что помогу.

На другой день он, сияющий, обласканный какой-то мечтой, пришел ко мне. В руках его была красивая тетрадь в атласном переплете. На ней алела большая роза. Он достал из кармана штанов бумажку и бережно развернул её. Там был бумажный выдавленный цветок — пучок голубых незабудок. Я видал — их продавали в магазине по три копейки за штуку.

— В-вот это нужно прик-клеить и н-написать… Я всю п-ночь не спал, п-придумывал, что н-написать.

— Придумал?

— Н-нет, н-н-не выходит.

Я усомнился в пользе этого занятия. Мне казалось, что писать стихи в альбом недостойно мальчишек. Но Денисов так жарко мне доказывал эту необходимость, что я сел за стол и стал упражняться в стихосложении.

— Как её зовут? — спросил я.

— Н-настюша. Я сочинил:

Настя милая, хорошая моя,
Поцелуй-ка ты рыжего меня!

Денисов обиделся.

— Н-ну, не нравится, некрасиво… Н-настя… и р-рыжего, — не надо. Чем я виноват, что р-р-рыжий?

Мы кое-как состряпали еще стихотворение:

Люблю тебя и не забуду,
Всегда мечтаю о тебе.
Когда в сырой могиле буду,
Ты вспомни, вспомни обо мне!

Стих показался мне глупым, никчемным. Я предложил:

— Давай сочиним что-нибудь насчет школы, чтобы она лучше училась.

— Н-нет, это бг-будет скучно.

Ему понравился наш стишок. Он унес от меня альбом, точно какую-то драгоценность.

Вечером я встретил Денисова на улице. Он важно шел со своей барышней и курил папиросу. Походка на этот раз у него была развалистой, точно у большого. Он был серьезен и сосредоточен. Мне захотелось над ним подшутить. Я крикнул:

— Ванька, Фотич идет!

Он торопливо смял папиросу и бросил её в снег. А Настя залилась раскатистым хохотом.

Когда мы шли домой, он внушающе мне заметил:

— Н-неважно… при барышне… И Ванька… А потом предложил мне:

— В ту суб-бг-бг-боту айда, я тебя познакомлю.

Я не пошел в субботу, но через несколько дней, терзаемый любопытством, я завернул в церковь. С Настей из церкви вышла еще одна девочка, высокая, тонкая, смуглолицая, в белой пуховой шали. Денисов повел меня к ним. Я упирался, чувствуя себя донельзя смущенным. А он успокаивающе говорил:

— Айда! Чего ты бг-бг-боишься?

И, подходя к ним, он, как большой, расшаркался и проговорил:

— Ж-ж-желает с в-вами п-п-познакомиться… М-м-мой товарищ…

И назвал мое имя, отчество и фамилию. Меня это еще более смутило. Я неловко тряхнул руку своей новой знакомой и пошел с ней рядом, не зная, о чем я буду с ней разговаривать.

Вечер был лунный, чистый, морозный. С неба несмело смотрели редкие звезды. И крыши домов и высокие суметы снега казались облитыми ртутью. Я смотрел на высокую девочку. На её тонком лице задорно блестели глаза, и длинные ресницы запушились инеем. Я молчал и ругал себя, зачем я пошел. Я знал, что с барышнями нужно о чем-то разговаривать.

— Погода сегодня очень хорошая… — сказал я.

— И воздух пахнет горизонтом, — улыбаясь, продолжала мою речь барышня.

Я окончательно смутился. Они с Настей принялись хохотать. Я же, чувствуя свое глупое наложение, тоже захохотал, не зная, над чем. «Скорее бы их проводить и уйти бы домой, к чертям», думал я.

Когда мы подходили к дому, я спросил Денисова:

— А её как, Ванька, зовут?

— А т-ты разве не знаешь? И не спросил?

— Нет.

— К-к-какой ты!.. Нюрка, ф-ф-фамилия — Ш-ш-шилова, — сказал он укоризненно. И еще добавил: — Настоящий у-увалень! Н-н-не умеешь с б-б-барышнями обращаться.

— Почему?

— Ид-дешь и м-м-молчшпь.

— А о чем говорить?

— А т-т-так, м-м-мало ли о чем…

Но вскоре мы с Нюрой Шиловой сдружились и были большими приятелями. Она оказалась простой, словоохотливой, веселой девочкой, рассказывала о своей школе, где много учится купеческих дочерей, модных и гордых. С особой любовью она говорила о Петре Фотиевиче. Мне было приятно слушать о моем любимом учителе. В её словах была какая-то сердечная теплота, когда она рассказывала об его уроках физики. Мы стали с ней обмениваться книжками и, встречаясь, подолгу разговаривали.

Незаметно и ко мне пришло то же, что было и с Денисовым: я стал следить за собой, приводить свой костюм в порядок, тщательно зачесывать волосы. Я грустно смотрел на свои худые штаны, которые вытянулись буграми на коленях, на заплаты на своей короткой шубе и растоптанные, курносые сапоги и думал, что ей стыдно итти со мной рядом.

Но девчонок, очевидно, не смущал мой костюм. Я бегал к ним на улицу с подкованными санками, и мы катались с горы к реке.

Однажды Шилова не вышла кататься, а вышла одна Настя. Мы прокатились с ней несколько раз до реки и шли тихонько в гору, весело разговаривая. Она бойко садилась на санки, я тащил её в гору.

На улицу вышел Денисов, на руке его блестели коньки. Настя мне сообщила:

— Смотри, Денисов на каток пошел, — и повернулась на санках спиной. — Не смотри на него, пусть идет.

Но Денисов подошел к нам, поздоровался с Настей. Она, смеясь, села на санки и укатила под гору. Денисов посмотрел ей вслед, потом сердито посмотрел на меня и, не сказав ни слова, ушел.

После этого он долго со мной не разговаривал. Не дожидаясь

нас, он один уходил в школу, а из школы возвращался торопливо домой.

Наш Егор скептически относился к ухаживанию за барышнями. Плутовато улыбаясь круглым, как подрумяненная булка, лицом, он спрашивал нас:

— Что, ребята, сегодня опять козушек провожать пойдете?

Почему учениц Анатольевского училища звали «козушками», я не знал, и мне было обидно за них. Обидно потому, что среди них была Шилова.

Я спросил Егора, почему он всех девочек называет «козушками».

— Потому, что они все ходят на копытичках, — спокойно ответил он. — Посмотри-ка…

На другой день, провожая глазами учениц Анатольевского училища, я на самом деле убедился, что прозвище «козушки» приклеено к ним очень удачно. Большинство из них ходило в туфлях с высокими тонкими каблуками, отчего они ступали неестественно, как козы.

Денисова тоже обижало прозвище Егора, он протестующе говорил:

— А вы — бг-бг-бараны!

# СВОЙ ПОЧТАЛЬОН

В училище у нас снова появился Глеб Яковлевич. Но он теперь не драл нас за волосы, не давал подзатыльников. Наоборот, был ласков и внимателен к нам. Преподавал у нас рисование. Ходил в длинной черной шинели с капюшоном. Мы звали его Глебушкой.

Как-то Денисов подошел ко мне в школе и сказал:

— Ленька, х-х-хочешь п-п-писать Н-нюрке з-записку?

— Хочу.

— Пиши, С-сейчас же и о-о-отправим.

— Как?

— П-пиши, знай!

Он взял — мою записку и пошел. Я побежал за ним. В коридоре у вешалок, где висели пальто учителей, он отвернул капюшон у шинели Глеба Яковлевича и приколол записку.

— После третьего урока он пойдет в Анатольевское, — сообщил Денисов.

— А зачем?

— К-к-как зачем?… Он же т-т-там за-анимается.

— А там знают про записки?

— Ага.

И вот у нас оказался свой почтальон. Мы каждое утро встречали Глеба Яковлевича, заботливо, осторожно снимали с него шинель, вешали. Он зке конфузливо говорил:

— Что вы, что вы, ребятки!.. Спасибо, милые!

И, улыбаясь, ковылял вдоль коридора в учительскую, точно на каждом шагу кланялся.

Когда он уходил, мы отворачивали капюшон и обнаруживали там пять-шесть записок. Зная расписание у девочек, мы писали ответы и прикалывали.

Так же заботливо мы помогали Глебу Яковлевичу одеться и провожали его. Почта шла обратно.

Егор не раз предупреждал нас:

— А вы, ребята, влетите с этой почтой.

И мы действительно «влетели».

Однажды Глеб Яковлевич пошел от нас в Анатольевское училище, а с ним рядом шел Петр Фотиевич. День был ветреный. У Глеба Яковлевича завернулся капюшон на голову.

Петр Фотиевич изумленно вскрикнул:

— Глеб Яковлевич, обождите, что это у вас?

Они остановились. Петр Фотиевич снял несколько записок и, сложив их стопкой, на ходу стал читать:

— Нюре… Насте… Тоне… Оле…

Мне потом рассказывала Шилова, как Петр Фотиевич пришел с классной наставницей и стал по имени вызывать.

— Смотрит на меня, прямо мне в глаза, и говорит: «Нюра, вам «записка».

— И ты взяла?

— Ой, нет!

На другой день Петр Фотиевич призвал меня в учительскую. Он был один. Пристально смотря на меня, он спросил:

— Скажи, кто у вас этими вещами занимается?

Он показал на стопку наших записок.

— Не знаю, — ответил я.

— Не знаешь? — тихо сказал Петр Фотиевич. — Ты должен мне сказать. Если не скажешь, то, значит, лжешь, а лжет человек, который не уважает себя.

Меня поразили его слова. Я сказал:

— Я участвовал.

— А кому ты писал? Помолчав, я решительно ответил:

— Не скажу, Петр Фотич.

Петр Фотиевич посмотрел на меня, в его серых глазах я прочел снова настойчивое требование. Он спросил:

— А еще кто писал?

— Не знаю, — сказал я и почувствовал, что сделал большое преступление.

— Не знаешь… Ну, иди…

Я вышел подавленный.

# ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

В конце зимы нас испугало одно событие. Мы пришли в школу и не нашли Петра Фотиевича. Сначала мы думали, что он заболел, но потом почуяли что-то другое, загадочное и зловещее. В учительской было тихо. Учителя говорили осторожно, с опаской, точно за ними кто-то следил и подслушивал, и мы тоже примолкли.

Я и Егор подошли в коридоре к Алексею Ивановичу и спросили:

— Алексей Иваныч, а где Петр Фотич?

Он посмотрел на нас и, озираясь, сказал вполголоса:

— Я вам скажу, если вы до поры, до времени будете молчать.

— Будем молчать, Алексей Иваныч.

— Петра Фотиевича сегодня ночью арестовали, у него был обыск, — вполголоса сообщил он и быстро отошел от нас.

Егор примолк, оглушенный известием. Мне хотелось плакать. Я подошел к Егору и спросил:

— Неужели не выпустят?

— Не знаю, — сказал Егор. И, подумав, добавил: — По-моему, это мы виноваты: с попом больно уж мы того. Это, по-моему, поп.

Я вспомнил свою историю с попом и почувствовал себя виноватым.

Мы молчали, но в классе уже знали все, только говорить об этом боялись.

После обеда в школе неожиданно появился Петр Фотиевнч. Мк окружили его, как цыплята, и спрашивали:

— Петр Фотич, что с вами было?

— Да ничего, ребята… Так, недоразумение маленькое вышло.

С появлением Петра Фотиевича ребята загудели, как пчелы. У нас-было праздничное настроение, точно учитель пришел к нам после длительной отлучки. А в последний урок он пришел с толстой книгой в снова стал читать Некрасова:

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!
Стонет он по полям, по дорогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи…

Я ушел домой грустный, думал, что и наша жизнь — сплошной стон.

В памяти всплывали завод, Борисов, Баранов. Они светились в моем сознании далекими огнями. Я не слыхал никогда, чтобы они стонали. Сквозь их грусть проглядывала крепкая вера в грядущее — большое, смелое и бодрое.

Вскоре из тюрьмы вернулся брат Александр. Он похудел, был молчалив и мрачен. Сначала он будто внимательно отнесся ко мне, просмотрел мой дневник и похвалил:

— Ты хорошо учишься.

У меня блеснула надежда, что я кончу школу. Но через неделю он позвал меня и спросил:

— Стипендию тебе дали?

— Нет, — сказал я.

— На что ты надеешься? О чем ты думаешь?

Я молчал. Надеяться было не на что. Жить было трудно. Александр отвернулся от меня, закинул руки назад и долго молча смотрел в окно. Потом холодно сказал, не смотря на меня:

— Я тебе не содержатель… Будет дурака валять! Ученым всё равно не будешь… Не с нашим рылом в калашный ряд лезть. Давай-ка, отправляйся работать.

И пошел я работать.

Тагил, 1933 г.

**notes**

# Notes

# 1

ширкунцами — бубенцами

# 2

Куфта — Густо обросший хвоей сучок.

# 3

Отец Иов — Раскольник, схороненный близ Тагила